

Записки из Города Призраков

Автор:

Кейт Эллисон

Записки из Города Призраков

Кейт Эллисон

Счастливая жизнь Оливии Тайт, молодой девушки и подающей большие надежды художницы, казалось, оборвалась в один момент. Трагически погиб ее возлюбленный, при этом в его убийстве обвинили мать Оливии, которая неожиданно признала свою вину. Но девушка не верит в это. Дело, правда, усложняется тем, что ее мать страдает психическим заболеванием и не всегда помнит, что с нею происходило... И вот до суда – который, несомненно, признает несчастную женщину виновной – остается всего неделя. За это время Оливии предстоит доказать обратное – и найти настоящего убийцу. Безнадежное, казалось бы, дело. И тут на помощь девушке приходит совершенно неожиданный помощник...

Кейт Эллисон

Записки из Города Призраков

© Вебер В.А., перевод на русский язык, 2013

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для

частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
(<http://www.litres.ru/>)

Посвящается Эдли и Рису,

самым милым парням на свете

Пролог

Подумайте о моменте, маленьком сантиметре времени, в котором вы существовали бы вечно, если бы нашлась возможность уложить время вдоль линейки. Может, он преследовал бы вас в том голубом дюйме полубессознательного состояния, в котором пребываешь перед тем, как окончательно проснуться.

Мой сантиметр: я и Штерн. За неделю до отъезда в художественную школу.

Если бы я могла остаться там, в моменте до того, как все изменилось, я бы осталась в нем навеки.

Я вижу, как он стоит передо мной, расправив плечи, золотистый, подвешенный в солнечном свете, который выглядит как мед. Черные завитки густых волос... Как широко посажены его глаза, ярко-синие на солнце... Маленькая щелочка между передними зубами, которую, улыбаясь, он всегда пытается скрыть рукой...

Я в сарае позади «О, Сюзанны», ярко-пурпурного дома, который построили мои родители до того, как я появилась на свет. Штерн так назвал дом в четыре года,

когда начал заниматься музыкой с мамой. В честь первой песни[1 - «О, Сюзанна» («Oh! Susanna») – песня, написанная «отцом американской музыки», композитором и поэтом-песенником Стивенем Фостером в 1848 г. Одна из самых популярных американских песен всех времен.], которую мама научила его играть. И он неразрывно связал дом с той песней.

«О, Сюзанна, не плачь ты обо мне». Так он поет всегда, едва видит дом. Я слышу, как он поет, и вижу, как он подходит.

И именно в этот момент я бы нажала кнопку «Остановись».

Улыбка, расплзающаяся по всему его чертову божественному лицу. Тишина. Ничего еще не началось, а ничему не начавшемуся не нужно заканчиваться. «Остановись».

Я могу стоять здесь, у двери дощатого сарая, ожидая, пока он подойдет, глядя на его чертово божественное лицо до скончания веков. И больше нам ничего бы не пришлось делать.

И нам не пришлось бы изменяться.

И ему не пришлось бы уйти.

Глава 1

Шевелись.

Но только потому, что нет другого способа рассказать эту историю.

– Слишком жарко для физического труда, Лив, – жалуется Штерн, когда мы поднимаем огромную картину, которую я нарисовала за лето – морской пейзаж, небо, истекающее синевой в густо-зеленые волны, – с высокой стопки других картин, лежащих в сарае позади «О, Сюзанны». Голос моего лучшего друга хрипловатый и спокойный, совсем не такой, как в далеком детстве.

Он поднимает картину над головой, тогда как я наклоняюсь к пыльной земле и беру другую картину: черных дроздов в кронах пальм. Штерн и я замираем в сумраке сарая, нам не хочется выходить под солнце. Хлопковая материя топики прилипла к каждому квадратному дюйму моей кожи.

– Нам лучше выйти отсюда, – говорит Штерн, похлопывая по бетонному полу сарая кожаной подошвой сандалий «Найк». Поднимается облачко пыли. – Или мы умрем прямо здесь.

Штерн направляется к Джасперу, моему ржавому, старому, лягушино-зеленому «Капри»[2 - Автомобиль «Форд Капри» выпускался в 1961–1986 гг.], названному так, потому что цветом тот напоминал Штерну болотных лягушек, которых он называл не иначе, как Джаспер.

Завтра мама и папа повезут меня (и Джаспера) обратно в школу, всю дорогу от моря до сверкающего озера. Они в последний раз соглашаются терпеть присутствие друг друга в ограниченном пространстве автомобильного салона ради меня. Потом они оставят нас (меня и Джаспера) на милость Мичигана, и я скрещу пальцы в надежде, что индейское лето[3 - Американский аналог бабьего лета.] наступит до того, как все завалит снегом, а они самолетом вернутся домой, где стоит вечная жара. Мама позвонит, чтобы сообщить, что долетели они «благополучно». И не станет делиться подробностями того, что последует за моим отъездом: отец тоже отбудет (они решили, что этого не произойдет, пока я в доме), а перед этим они решат, кто что возьмет, и в гостиной будут громоздиться коробки, а на паркетном полу лежать полотнища пузырячатой упаковки, пузырьки которой я так любила схлопывать.

Они уже три месяца жили врозь, а неделей раньше оформили развод. Мама знает, что их развод для меня – большое горе. И пока старается обходить его стороной, уповая на то, что время – искусный лекарь таких открытых ран.

– Догоняй, Ливер! – кричит Штерн, замечая, что я отстаю.

– Надсмотрщик рабов, – бурчу я, выхожу из сарая спиной вперед, чтобы направиться к багажнику ржавого «Капри», стоящего на подъездной дорожке.

За окном я вижу папу, готовящего обед. Сквозь чистое стекло мука, которую он просеивает, выглядит мягко падающим снегом. До прошлой зимы я не знала, как

выглядит снег. В Майами его не бывает. Штерн заставил меня связаться с ним по скайпу, когда снег пошел в первый раз, и поставить компьютер у окна так, чтобы он мог наблюдать за ним вместе со мной.

Наконец-то мы выбираемся из сарая. Укладываем обе картины в багажник, наши пальцы липкие от пота.

– Мило, – говорю я со вздохом. – Ладно. На том и остановимся? – И широко улыбаюсь, задираю верхнюю губу, пока не обнажаются десны.

Он показывает мне язык, вытирает руки о шорты и идет к сараю. Я следую за ним.

– Мы остановимся, когда закончим, – говорит он. И тут же останавливается, вздыхает. – Не могу поверить, что ты уже уезжаешь. – Что-то ищет в кармане шортов. – Между прочим, я кое-что для тебя сделал, чтобы ты вспоминала меня в долгие, долгие мичиганские вечера. – И протягивает мне си-ди с надписью «Л. ШТЕРН, ФОРТЕПЬЯННЫЙ БОГ» (ниже маленькими красными буквами: «Лукас Штерн против Джульярда: практические занятия величайшего музыкального гения нашей страны»).

Я беру си-ди в руку, театральным жестом прижимаю к груди.

– Вау! Какая честь, Эл Штерн, фортепьянный бог. Но я думаю, неужели недостаточно того, что я уже сто двадцать раз слышала, как ты сыграл каждое произведение под чутким маминым контролем?

Он улыбается.

– Я знаю, да. Но разве тебе не хочется быть здесь и видеть наяву, как играет фортепьянный бог? Особенно если он что-то запарывает и ему нужен человек, которому он потом может поплакаться в жилетку, чтобы чуть поднять себе настроение?

Очередная капелька пота катится по моей спине.

– Вероятность, что фортепьянный бог что-то запрет, нулевая, – говорю я. – И ты знаешь, что я бы осталась здесь, если бы мой чертов триместр не начинался так рано.

– И еще один великий вызов: обедать дважды с твоими родителями, одному, каждый вечер в твое отсутствие.

– Что ж, – я кладу диск на коробку с маркировкой «ЛИВ-МИЧИГАН», кожа на моей челюсти натягивается, – тебе остается пообедать еще пару раз до того, как папа переедет к Хитер. – Я глубоко вздыхаю и бросаю на Штерна тоскливый взгляд. – Если бы си-ди помог с этим...

Он елозит мыском сандалии по бетонному полу.

– Извини, Ливер, – мягко говорит он. – Я не хотел этого касаться. – Его баскетбольные шорты начинают сползать вниз, но он подтягивает их, прежде чем наклониться за следующей картиной. Я успеваю заметить черную полосу волос, уходящую вниз от пупка. И живот плоский, никакого жирка. Штерн такой высокий. Кожа загорелая. Губы алые.

– Что ж, они практически и твои родители, – быстро говорю я, надеясь, что слова изгонят нежданную дрожь, которая пробегает по моему телу. – Я хочу сказать, что в это лето ты провел с мамой больше времени, чем я.

– Я не могу назвать приятным времяпрепровождением подготовку к прослушиванию в Джуль-ярде. Иной раз кажется, что пальцы сейчас отвалятся. – Он прижимает к груди одну из моих аляповатых картин. – Хотя твоя мама клёвая. Моя такой никогда не будет.

– Если отбросить в сторону всю эту шизофрению, ты хочешь сказать? – Я говорю это в шутку, но слово «шизофрения» оставляет во рту странное послевкусие.

В отдельные дни она нормальная. Лучше, чем нормальная, – классная. Штерн все еще берет у нее уроки, когда она действительно принимает лекарства (не так много думает о том, как они отупляют ее креативную душу), когда она безопасная, когда ее пальцы скользят по клавишам, создавая музыку, заставляющую замереть там, где ты есть, и замечать все прекрасное, что окружает тебя.

Его пальцы тоже способны на такое, прекрасные пальцы, которые сейчас сжимают край моей картины; я чувствую странное, внезапное нервное возбуждение, как в тот момент, когда тебя пристегивают к пластиковому сиденью русских горок перед тем, вагончик покатится вниз. Это чувство нарастало во мне долгое-долгое время – и я до сих пор не знаю, как мне его назвать.

До прошлого года я даже не смотрела на него как на парня. Я знаю о нем все: что впервые он по-настоящему поцеловался с Марисоль Фуэнтес в восьмом классе, в ванной матери Марисоль. Я знаю, что маленьким мальчиком ему нравилось надевать одежду матери, вплоть до головной повязки и клипсов. Я знаю, что он больше всего боится попасть в автомобильную аварию и лишиться рук.

Но все это не помогло мне осознать, что в один прекрасный день все изменилось, причем ни один из нас не понял, Как или Что. Штерн – мой забавный, пухлый, завернутый на музыке маленький Штерн – внезапно превратился в еще одного парня со щетиной на щеках и ямочкой на подбородке, которая становится больше, когда он улыбается.

Я не могу этого отрицать, как ни стараюсь. А я стараюсь. Но Штерн неоспоримо и бесспорно привлекательный. Как я не замечала этого раньше?

На долю секунды я встречаюсь с ним взглядом, и его глаза блестят: словно он тоже знает – что-то... переменялось. Мы присаживаемся и беремся за следующую раму, большой картины, и – глаза в глаза – несем ее к двери сарая, за которой ослепляющее светит солнце. Я вижу, как ветер качает провода. От жары кружится голова, тяжелые листья пальм гнутся к земле. Дьявольское солнце.

С картинами мы почти закончили, и я приваливаюсь к горячему металлу автомобиля, вероятно, прожигаящему дыры в моем топике. Штерн хитро улыбается – с такой улыбкой его лицо начинает напоминать обезьянью морду, – когда идет ко мне с одной из последних картин.

– Я нашел, на мой взгляд, лучшую, – говорит он, вскидывая брови.

– Вроде бы я не просила тебя выбирать, Штерни...

И тут он поворачивает картину, чтобы я могла ее видеть: автопортрет. Автопортрет нагишом. Буфера. Огненный клок в промежности. Я нарисовала его в прошлом году по заданию. Чтобы студенты лучше узнали друг друга. Мы все нарисовали. Мой труд не оценили. «Непропорционально», – прокомментировала миссис Уэбб, и остальные студенты согласно покивали. Вернувшись этим летом домой, я спрятала автопортрет в сарае, чтобы больше никогда о нем не думать, и не думала, пока Штерн не откопал его.

– Отличная... э... работа, Лив, – говорит Штерн, едва сдерживая смех. – У тебя такие красивые... мазки.

Я пытаюсь вырвать картину из его рук, но он держит ее крепко.

– Дай сюда, говнюк! – кричу я, прыгаю на него, обхватываю за талию, чтобы защекотать.

Он поднимает картину над головой и всем весом наваливается на меня. Мы падаем на горячий, пыльный двор у самого края подъездной дорожки, пыхтя и толкаясь; картина выскользывает из его пальцев, лицевой стороной вверх, застывает на гравии. Я уже на нем, оседлала, обхватив ногами бедра, но прежде чем успеваю потянуться к картине, он скидывает меня с себя, оказывается на мне; теперь одна его нога между моих, а руки заводят мне за голову, и я не могу ими пошевелить. Смотрю на него снизу вверх, у его головы золотой нимб, я тяжело дышу, вся потная.

– Не дергайся, – говорит он, глядя на меня сверху вниз, чуть осипшим голосом. – Я серьезно: это прекрасная картина, Оливия.

По жару на щеках я понимаю, что лицо у меня пунцовое. И у него тоже. Щеки налились кровью. Его большие, светло-карие глаза проходятся по мне таким взглядом, будто он никогда не видел меня раньше. Мы замираем, жара атакует нас со всех сторон. А потом нерешительно он касается рукой моей щеки и тянет меня к себе, целует в губы, очень нежно. Я чувствую его пальцы в своих волосах, его большая рука у меня на затылке. Жар заполняет все мое тело, когда я прижимаюсь к нему, целую в ответ. Позволяю глазам закрыться, когда он еще сильнее прижимает меня к себе, и перестаю замечать жару. Перестаю замечать

все, кроме странного чувства, пульсирующего во мне: мое тело тает и сливается с его. «Штерн. Это Штерн».

Он отстраняется на мгновение, и когда я открываю глаза, чтобы посмотреть на него, мой желудок резко уходит вниз, как на русских горках. Его глаза.

Его светло-карие глаза стали серыми.

Я подаюсь назад, голова кружится, моргаю несколько раз: его глаза не меняют цвет. Мы поцеловались, и теперь его глаза не меняют цвет на прежний. Мир наклоняется, тащит меня с собой. Я не могу найти точку опоры, не могу сообразить, что к чему. Его кожа более не загорелая, она цвета старой газеты.

Внезапно – как при вспышке фотоаппарата – небо теряет синеву, становится тяжелым. Я несколько раз моргаю, но оно такое же: мутно-серое, дезориентирующее, словно я попала в черно-белый сон.

«Нет. – Я трясу головой. – Нет». Паника захлестывает меня. Я не могу шевельнуться. «Серое пространство». Место, о котором рассказывала мне мама: мертвое, без музыки, без цвета. «Это серое пространство?»

Это происходит. Я схожу с ума. Как мама.

Штерн выглядит подавленным.

– Это... это была ошибка, – бормочет он. – Я не... я не думал. Это просто случилось. – Кусает губу. – Я надеюсь, это не... Я не хочу, что это повлияло на наши отношения. Мы же друзья.

«Нет».

– Штерн... – Грудь сдавило, голос едва слышный. Я не знаю, как объяснить случившееся, не показавшись совсем рехнувшейся. Нет у меня нужных слов. Я не могу сказать ему, что не сожалею об этом и никогда не буду сожалеть, что я это хотела. Поэтому просто сижу. Молча. В ужасе. Он встает, избегая встретиться со мной взглядом.

– Я... мне надо идти на работу... – Он отряхивает от пыли баскетбольные шорты. – Забыл, что обещал сменить Лупа... Послушай, скоро увидимся, хорошо?

И всё.

Мгновения спустя, все еще сидя в пыли, я наблюдаю, как он быстро идет к своей теперь серой «Тойоте», даже не оглянувшись, чтобы помахать рукой. Я наблюдаю, как серый дымок выхлопа поднимается к серому небу.

Серое. Серое. Серое. «Серое пространство». Мертвое место. Мамины руки замерли на клавишах, когда она рассказывала мне о нем. «Пока у меня есть музыка, пока я здорова, Серое пространство держится в стороне».

Я стучусь затылком по дереву, стараясь выбить то, что залезло в голову. Но застряло крепко. Ужасная, вызывающая тошноту серость. Повсюду.

А под серой тяжестью острая, пронзающая тревога: почему до этого момента я не отдавала себе отчет в том, что хочу Штерна? Хочу – именно так. Хочу бороться с ним в темной пыли, и целовать его губы, и зарываться пальцами в густые черные волосы, и держаться за руки на вечеринках. Я всегда радовалась, когда видела его, приходя домой, но не осознавала этого.

Но он сказал, что это ошибка. Что он этого не хотел. Тогда почему сделал?

Моя голова не перестает кружиться. Мир по-прежнему каменно-серый.

Первый раз разум мамы «выкинул фортель» – по крайней мере, я впервые услышала об этом, – на двенадцатом году моей жизни. Она не сомневалась, что видит змей, выдавливающих вверх клавиши ее кабинетного рояля. Стояла над инструментом с мясницким тесаком, дожидаясь, когда они выползут, чтобы отрубить им головы. Потом, после того, как папа успокоил ее и глаза очистились от тумана, она сказала: «Что-то происходит со мной. Что-то не то. Я боюсь».

Бум! Гром разрывает темно-серое небо, теплые капли дождя шлепаются на мою кожу: я понимаю, что мои глаза подвели меня не полностью. Надвигается гроза. Я поднимаюсь, иду к автомобилю, захлопываю крышку багажника. Приваливаюсь к горячему металлу и позволяю дождю смыть пыль с кожи.

Завтра я уеду от жары и качающихся пальм далеко-далеко. Потом несколько дней буду устраиваться в новом общежитии, закончу картины. Если Штерн не позвонит в течение недели, сдамся и позвоню ему сама. Скажу, что люблю его. Услышу в ответ его сбивчивые признания, и влюбленными станем мы оба. И мои глаза снова увидят цвета, придут в норму.

Я не волнуюсь.

Да только есть в моих планах одна неувязка.

Через неделю Штерн будет мертв.

И за мамой приедут глубокой ночью, чтобы препроводить ее в камеру Бродвейтской тюрьмы по обвинению в убийстве Штерна.

Глава 2

– Чуть меньше года, – говорю я доктору Левину, моему окулисту, прижавшись лицом к тяжелому металлическому устройству и глядя на изображения, которые проецируются на стену. Цветные изображения, да только цветов я не различаю.

Десять месяцев я абсолютный дальтоник. Десять месяцев после поцелуя, десять месяцев с тех последних мгновений, проведенных со Штерном. Десять месяцев после его смерти. Ничего не могу с собой поделаться и гадаю, как будут выглядеть сегодня, четвертого июля, фейерверки на фоне оттенков серого неба.

Я начала забывать, как выглядят цвета. Перестав рисовать, я начала забывать и многое другое. Ощущения кисточки в руке, ощущения мастихина, запахи угля и скипидара. Я больше не разгадываю загадки: а что появится на холсте? Я доверяла живописи. Полагалась на нее. Но теперь все ушло. Доверие испарилось, как дым, вместе со свободой моей матери, самой важной дружбой в моей жизни и моими отношениями с папой.

Теперь остается только одно: ожидать неизбежного.

Девять дней. Девять дней до начала слушаний. Девять дней, по прошествии которых они скажут нам – официально, – что она ушла навсегда.

Доктор Левин проявил себя с лучшей стороны, назначив консультацию на праздничный день. Возможно, как и у меня, лучшего занятия у него не нашлось. Он отодвигает устройство в сторону и вновь зажигает свет, подсаживается ко мне. Он уже час занимается моими глазами. Пневматическим тонометром проверял внутриглазное давление, направлял в зрачки яркий луч, словно хотел разглядеть, что у меня с обратной стороны затылка, показывал листочки с цифрами, нарисованные точками на фоне других точек.

– Оливия, – мягко начинает он. – Никаких признаков повреждения сетчатки твоих глаз нет. Если на то пошло, ты на удивление хорошо различаешь оттенки серого.

– И что? Что это означает? – Я наклоняюсь вперед из большого кожаного кресла.

Он сдвигает очки ближе к переносице.

– Церебральная ахроматопсия[4 - Ахроматопсия (ахромазия, цветовая слепота) – отсутствие цветового зрения при сохранении черно-белого восприятия.], на которую ты вроде бы жалуешься, практически неизвестна. Это исключительно редкое состояние, почти всегда – результат какого-то повреждения затылочной доли на обоих полушариях мозга, и маловероятно, чтобы такое случилось с тобой.

Я чувствую, как краснею.

– Я... теперь я не могу даже рисовать. – Горло перехватывает, я стараюсь откашляться.

– Я не говорю, что это пустяк, как и не говорю, что не верю тебе, Оливия. – Доктор Левин мягко кладет руку мне на плечо, словно говорит с четырехлетним ребенком... собственно, он так и говорил со мной с тех пор, как мне исполнилось четыре годика, не считая необходимым изменить голос. – Что я хочу сказать... не думаю, что причина происходящего с тобой физическая.

Я, сощурившись, смотрю на него.

– Тогда почему это происходит со мной?

Теперь он откашливается, достает ручку из-за уха, рассеянно возвращает на прежнее место.

– Может, тебе надо подумать о том, чтобы поговорить с кем-нибудь из... с кем-нибудь из профессионалов. Я знаю нескольких блестящих специалистов. Уверен, тебе это пойдет на пользу.

Он вновь пытается положить руку мне на плечо, но я инстинктивно отдергиваю его.

– Что вы такое говорите?

Он вскидывает обе руки, ладонями вверх.

– В этом нет ничего постыдного. Я сам несколько десятилетий хожу к психоаналитику. Это нормально.

Кабинет внезапно становится холодным, как морг. Я знаю эту дорогу: моя мать прошла такой же, и ему это известно.

– Вы думаете, я чокнутая.

– Нет. – Он трясет седой головой. – Я говорю, что в последнее время тебе пришлось многое пережить... больше, чем достается большинству.

Я не отвечаю, но поспешно выбираюсь из кресла. Он вздыхает, пока я быстро иду к двери. Я не хочу говорить о том, что мне пришлось пережить, ни с ним, ни с кем-то еще.

Первый раз я попала к психоаналитику в двенадцать лет. Сразу после того, как безумие матери проявилось во всей красе. Доктор Эдли Нолан, старикан с длинным лошадиным лицом, после двух отвратительных сессий сказал мне, что безумие у меня в генах. И мне надо только дожидаться, когда оно проявит себя.

После этого папа уже не заставлял меня вновь пойти к психоаналитику; думаю, он чувствовал себя виноватым за нанесенную мне травму. И потом, папа же не знает, как далеко все зашло.

Никто не знает.

Доктор Левин открывает дверь, выпускает меня в приемную и останавливает, прежде чем я успеваю убежать.

– Оливия. Послушай... я знаю тебя с детства. Я слушал, как твои родители говорили и говорили о тебе. Я знаю, как важна для тебя живопись. Как всегда была важна.

Мысленно я отвечаю: «Да. И что?» Я смотрю на мой ноготь с облупленным черным лаком. Годом раньше я бы увидела, что он фиолетовый.

– Продолжай рисовать карандашом или углем – пока ограничишься черным и белым, – продолжает он. – Цвета вернутся к тебе, когда ты будешь к этому готова, не волнуйся об этом. Вот увидишь... все образуется наилучшим образом. Я знаю, что образуется. – Он одаривает меня улыбкой, приберегаемой для детей и недоумков. – Ты молодая, надолго это не затянется. Постарайся расслабиться, ради меня, хорошо? Сможешь это сделать?

Какое-то время я сижу в автомобиле, прижавшись лбом к раскаленному рулевому колесу, не думая о том, что воздух так нагрелся, что им практически невозможно дышать. Стайка шести- или семиклассниц идет по высохшей лужайке перед автостоянкой, направляясь, несомненно, на пляж. Грудипрыщики прикрыты бикини, шорты короткие-прекороткие, полностью открывающие коричневые ноги.

Коричневые, потому что их ноги более темно-серые в сравнении с моими.

Я в этом уже поднаторела: отличаю синее от красного или коричневого. Запоминаю точный оттенок и текстуру почтовых ящиков и знаков «Стоп», а потом сравниваю с футболками или блеском для губ, или песком. Это трудно: определять цвет того или иного по оттенкам серого.

Девчонки толкают друг друга в идущих впереди мальчишек, на телах которых еще не растут волосы, смеются, вертятся.

Я включаю двигатель и – на полную мощность – кондиционер, чтобы заглушить все прочие звуки. Они напоминают о времени, которое теперь вызывает у меня только грусть: до моего отъезда; до того, как мама начала видеть то, чего нет; до того, как папа решил, что он этого больше не выдержит; до того, как мы со Штерном подумали, что нас связывает нечто большее, чем ДДГ[5 - ДДГ – дружба до гроба.]. До того, как мы узнали, что не вечны, и хорошая, легкая жизнь не всем преподносится на блюдечке с голубой каемкой.

Я выкатываюсь из парковочной ячейки, проезжаю мимо комплекса врачебных кабинетов. Кроны пальм обвисли в этой жаре, для моих глаз они тускло-серого цвета. Я задаюсь вопросами: когда с головой у меня станет еще хуже, когда я начну видеть то, чего нет, когда более не смогу это скрывать, когда все узнают...

Для мамы это началось на первом курсе колледжа – именно тогда появились первые, незаметно подкрадывающиеся признаки: лампы вдруг становились невероятно яркими, из темноты доносились голоса людей, словно усиленные динамиками.

Я читала, что шизофрения обычно проявляет себя, когда человеку от пятнадцати до двадцати пяти лет, инициированная травмой или неожиданным событием (обратите внимание).

«Это начинается, – звучит в ушах тихий вкрадчивый голос. – Именно теперь это и начинается».

Мобильник жужжит в кармане моих любимых обрезанных шортов, истертых на задку и заляпанных краской. Может, это Райна. Звонит, чтобы упросить меня прийти на яхту ее дяди и посмотреть фейерверк. Мы со Штерном приходили каждый год.

В этом году меня заставили пойти на ужасную корпоративную отцовскую вечеринку, и Райна уже предложила мое – и Штерна – место на яхте Тиф и Хилари из команды по плаванию. Я иногда думаю, а не хвалится ли она? Мы все любим вести тайный счет нашим друзьям: Оливия – минус один, Райна – плюс

два. Но может – каким-то чудом – она хочет наплевать на все и встретиться со мной на автомобильной стоянке, чтобы потом мы крепко напились, а после этого, шатаясь и поддерживая друг друга, завалились в тот бальный зал. Я проверяю мобильник на следующем светофоре. Но сообщение от папы: «Не забудь о сегодняшней вечеринке».

Сердце падает как камень. «Сегодняшней вечеринке». Чертово сообщение! Папа, очевидно, думает, что меня радует перспектива провести вечер Четвертого июля в компании богатых риелторов и их грудастых (сплошной силикон) жен. Разумеется, он не так много знает о том, что меня теперь радует. В последнее время я вижу его нечасто. Свое время он делит между будущей женой, Хитер, и «Елисейскими полями», строящимся кондоминиумом для богатых. И в присутствии Хитер не говорит с тexasским акцентом. Произносит слова иначе, куда более четко.

Несколько месяцев тому назад, когда я узнала, что папа собирается жениться на Хитер – честное слово, второй такой зануды на Земле нет, – я не смогла в это поверить. Они встречались чуть больше года – познакомились на собрании группы поддержки людей, близкие которых страдали «эмоциональной неуравновешенностью», – до того, как отец подал документы на развод. Я даже не знала, что он посещал собрания такой группы.

Отец и мама жили отдельно менее трех месяцев, в течение которых он и эта коза все сильнее влюблялись друг в друга. А потом отец сделал ей предложение. И позвонил мне в январе, в понедельник утром, перед первой парой – историей искусства, – чтобы мягким голосом (как будто от этого легче) поставить в известность. Мне пришлось отключить связь, чтобы я смогла блевануть. До этого времени я лелеяла мысль, что Хитер – заменитель, временная фигура в жизни папы, и он вот-вот осознает, что не сможет любить никого, кроме мамы.

К тому времени цветов я все равно не различала, так что совершенно перестала рисовать и сложила все рисовальное в большой армейский рюкзак, чтобы больше не видеть. Вместо того, чтобы корпеть над домашними заданиями, я ходила на вечеринки, переспала с множеством всем недовольных учеников, прежде чем окончательно не бросила школу и не вернулась в Майами. Дома уже полтора месяца, и остается только удивляться тому, как замедлилось время. Такое ощущение, что часы научились отсчитывать одну секунду там, где раньше отсчитывали две.

Я все еще не рассказала папе о сером пространстве, о цветовой слепоте. По-прежнему убеждаю себя, что цвета вернуться, если я никому не буду говорить об их исчезновении.

Нетерпеливый гудок. Водитель «Мерседеса» жмет на клаксон. Должно быть, прошло уже несколько секунд, как красный свет сменился зеленым. Я бросаю мобильник на пассажирское, в пятнах от кофе, сиденье и жму на педаль газа. «Еду! – кричу я себе, пепельному небу, зеркалу зад-него обзора. – Еду!»

Когда я приезжаю домой, Хитер пьет ледяной чай, сидя за кухонным столом.

– О, как хорошо, что ты вернулась. – Ее заостренные черты еще больше заостряются туго стянутым светловолосым конским хвостом. Для меня она выглядит альбиносом: и волосы, и кожа одинаково тускло-светло-серые. – Дейв уже начал волноваться, – а вдруг ты забыла про вечеринку. Ты хорошо...

– Да. Отлично, – бормочу я, обрывая ее, и бегу наверх. Меня бесит, что она зовет папу Дейвом. Просто Дейвом, будто в каком-то частном клубе, членом которого она стала.

В своей комнате я пытаюсь подобрать одежду на сегодняшний вечер. Голос папы звучит в голове, когда я роюсь в ящиках и просматриваю платья, висящие на плечиках в стенном шкафу: «Лив, постарайся немного привести себя в порядок на эту вечеринку, хорошо? Ради меня».

Это что-то новое. Внезапно возникшая у папы идея, что мне надо «приводить себя в порядок». Мама бы защитила меня: ей всегда нравился мой стиль. Хитер, с другой стороны, не заметит креативность, даже если та даст ей крепкого пинка под зад. Она признает только то, о чем ей говорят другие люди: выращенный в морской воде жемчуг, пастельные тона от «Энн Тейлор»[6 - «Энн Тейлор» – сеть магазинов модной женской одежды. Основана в 1954 г.], сумочки от «Коуч»[7 - «Коуч» – американская компания, производитель аксессуаров класса люкс. Основана в 1941 г.].

Единственное хорошее, что вышло из этой женщины, – ее пятилетняя дочь Уинн, к счастью, слишком маленькая, чтобы понимать непристойную умеренность ее матери. Уинн – единственная причина, по которой я могу одеться и не выглядеть

полной дурой. Несколько недель тому назад она помогла мне разобрать платья по цветам, думая, что это игра. И как же малышке понравилось в нее играть. Беззубая улыбка не сходила с ее лица по мере того, как росла каждая кучка. «И какого цвета эти платья, Уинн?» – спрашивала я ее, когда она застенчиво смотрела на одну из кучек. «Синие! Они синие, Ливи».

Так что теперь у меня есть двенадцать цветowych ярлыков, написанных корявым почерком пятилетней девочки, приклеенных скотчем к дну ящиков и в различных частях стенного шкафа. Я высовываю голову в коридор и зову малышку: «Панда! Помоги мне выбрать мой сегодняшний наряд». Я слышу ее торопливые шаги. Приглушенные ковром, она подбегает и обнимает мои ноги.

– Гвиззли! – пищит она, прижимаясь к моим ногам еще сильнее. Когда я приезжала домой в последний раз, мы обсуждали, какими станем медведями, если инопланетяне приземлятся в Южной Флориде и превратят всех в медведей. Я не сомневалась, что она выберет для себя панду, отталкиваясь исключительно от моей детской набивной игрушки, которую я передала ей на прошлое Рождество... а получила от Штерна во втором классе после того, как мне вырезали аппендикс. Не имело никакого смысла смотреть на нее каждый вечер, только возрастало ощущение пустоты и одиночества.

Она врывается в мою комнату и выбирает «темно-перпурное» платье в облик без лямок, кожаные сандалии со шнурками до колен из «коричневато-желтой» обуви и ожерелье из сандалового дерева, которое раньше носила мама.

– И что ты собираешься делать этим вечером, маленький медвежонок? – спрашиваю я ее, вглядываясь в свое отражение в зеркале над туалетным столиком, пробегаясь пальцами по волнистым каштановым волосам (теперь грязно-серым), строя глазки и надувая губки. Уинн меня копирует, вертится из стороны в сторону в платье с широкой балетной юбкой.

– Собираюсь смотреть фейерверки с Лайзой. Могу я пойти с тобой? Пожа-а-алуйста? – Она поджимает губы и встает навтыжку, как солдат, в широко раскрытых глазах мольба.

Я поднимаю ее на руки, прижимаю к себе, целую в веснушчатый нос, прежде чем опустить на пол.

– Знаешь что, Панда? Мне бы хотелось пойти с тобой. Но тебе и так очень понравятся фейерверки. Я знаю.

Я отправляю Уинн в ее комнату, чтобы завершить приготовления к вечеру, и наблюдаю, как она радостно бежит по коридору.

Через несколько минут Хитер зовет меня снизу:

– Оливия? – И пусть я не отзываюсь, продолжает говорить: – Я собираюсь завезти Уинн к Джеффри и оттуда поехать на вечеринку. Твой отец уже там. – «Попутного ветра». – Так я увижу тебя там через несколько минут? – Я слышу ее вздох, представляю себе, как она стоит внизу, упершись руками в узкие бедра, смотрит на пустую лестницу, ждет.

– Да! – наконец кричу я. – Увидимся там.

Я заканчиваю последние приготовления: сдвигаю груди под платьем, крашу ресницы тушью, накладываю слой блеска на полные губы.

На вечеринке будут юноши из частных школ – сыновья чудовищно богатых инвесторов «Елисейских полей» – в полной экипировке богатеньких сынков. Но даже если способны думать исключительно головой, а не головой, мне хотелось, чтобы они нашли меня красоткой. Больше теперь я уже ничего не хочу. А вот это осталось.

Запах плюмерии смешивается с другими цветочными ароматами: белого имбиря, лилий, шалфея, когда я на велосипеде еду на вечеринку моего папы по боковым улицам, где поменьше автомобилей. Еду не очень быстро, потому что не хочу вспотеть, а это в Южной Флориде не так-то просто, особенно летом. Океан рокочет все сильнее по мере того, как я приближаюсь к нему.

Я заезжаю на автомобильную стоянку «Елисейских полей», только чуть взмокнув и с сердцем, бьющимся в животе. «Елисейские поля» – первое путешествие папы в дикий мир коммерческой недвижимости. Мы с Райной называем это место Городом призраков: с того самого раза, как впервые ступили на здешнюю территорию, нас обоих всегда пробивает дрожь, стоит нам попасть сюда.

Строительство началось примерно за четыре месяца до смерти Штерна и ареста матери. Суд установил залог в один миллион долларов, гораздо больше, чем мог позволить себе отец. Всякий раз, приезжая из школы, я видела все больше и больше «Елисейских полей» и все меньше и меньше мамы. Может, поэтому у меня начинало ныть под ложечкой всякий раз, когда я проезжала мимо. Ирония в том, что пешая прогулка от нашего старого пурпурного дома до «Елисейских полей» займет не больше пятнадцати минут. И завершение строительства – бьющее наотмашь напоминание о том, что мама окончательно ушла от меня, от всех нас, словно это ее зарыли в землю и папа построил что-то огромное, и уродливое, и дорогое, чтобы скрыть могилу.

Город призраков, с какой стороны ни по-смотри.

Горло саднит. Будь я сейчас с Райной и Штерном, мы бы слушали Боба Дилана и пили пиво «Миллер хай лайф» на палубе яхты ее дяди Питера.

«Штерн. – Его фамилия бьется во мне, как второй пульс, когда я сажаю велосипед на цепь и тащусь к безукоризненно чистым стеклянным дверям вестибюля Города призраков. – Мне его недостает. Очень».

Я не рассказала Райне о нашем поцелуе почти год тому назад, хотя обычно делюсь с ней всем. Но чего мне хотелось, так это делать вид, будто его и не было. Расскажи я ей о поцелуе, утрата стала бы еще горше.

Когда я вхожу в «Океан», бальный зал «Елисейских полей», меня охватывает ощущение, знакомое любому ученику, впервые переступающему порог новой школы. Внутри Город призраков великолепен и старается показать товар лицом: все сверкает – и хрустальная люстра, и светло-серые гранитные стены. Для всех остальных, догадываюсь я, они кремовые.

Вестибюль залит светом. Огромные сверкающие окна выходят на тусклый гравий автомобильной стоянки. Если бы они смотрели на океан. Если бы океан находился с этой стороны здания или со всех сторон. Если бы океан мог вздыбиться и поглотить это здание, от которого веет злом. Я пробегаюсь подушечками пальцев по поверхности кабинетного рояля, который поставили, уж не знаю зачем, рядом с мягкими густо-серыми (красными?) диванами в другом конце вестибюля.

Будь мама здесь, она открыла бы крышку, через секунду ее пальцы нашли бы клавиши, и все эти самодовольные богачи собрались бы толпой за ее спиной и слушали, зачарованные. «Они все хотят покинуть Серое пространство, – сказала бы она мне. – Они не осознают, что они мертвые, пока не вспомнят, как все это звучит, когда ты живой».

Я замечаю папу, сидящего за столиком с Тедом Оукли, другом семьи, который нашел деньги под этот сверкающий новизной кошмар и втянул в эту историю отца, когда его работа строителем умерла в паре с рынком жилья Майами. Я зигзагом прокладываю путь между рядами девственно чистых столиков, к которым приставлены стулья с высокой спинкой, мужчинами в деловых, похоже, сшитых у одного портного, костюмах-тройках и их загорелыми и подтянутыми женами.

На полпути чуть не падаю, споткнувшись о салфетку, кем-то брошенную на пол, и ловлю насмешливый взгляд Брюса Грегорхоффа, который сидит за ближайшим столиком в компании Остина Морса, приемного сына Теда Оукли, кретина в квадрате.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что говорили они обо мне, Оливии Тайт: дочь убийцы, исключенная из художественной школы, с отклонениями от нормы. Несколько других парней из подготовительной школы Финнегана поглядывают на меня, всесторонне оценивают.

Пару месяцев тому назад Брюс и Райна нашли друг друга на какой-то вечеринке в частной школе. Она позвонила мне в тот же вечер, возмущенная, чтобы сказать, что он запустил ей руки в штаны секунд на десять, и все это время Райна казалась себе диваном, который он ощупывает в поисках рассыпавшейся мелочи. Я отвернулась от их столика и достала мобильник, чтобы отослать ей эсэмеску: «Мистер Эдуард Лапателъ здесь. Хочет, чтобы ты заглянула на огонек».

Я мечтала, чтобы она на это ответила: «Жалко, что ты не со мной, Лив. Без тебя совсем кисло».

Но когда мой мобильник завибрировал в руке, я прочитала совсем другое: «Нееееет! Этот козел!!! Рассказала Тиф и Хил, и они в осадке». Теперь Райна в команде пловцов, и ее начали замечать «классные ребятки». Перед ней

открываются новые перспективы, и мне там места нет. Зато есть Тиф, есть Хилари.

Папа замечает меня и кричит на весь зал: «Оливия Джейн! Мы здесь!» Парни вновь смотрят на меня и смеются. Я бросаю на них короткий («да пошли вы») взгляд и ухожу в громком цо-канье каблучков по паркету.

Тед Оукли встает из-за столика, широко улыбаясь.

– Оливия, как хорошо, что ты вернулась домой. Прекрасно выглядишь.

Он заключает меня в сверхдолгое объятие. От него хорошо пахнет, успокаивающе, по-стариковски... как дорогим лосьоном после бритья и даже еще более дорогим спиртным.

– Ты что-то похудела, – говорит отец. – Возьми мою тарелку, а потом сходи за добавкой. – Он мягко тянет меня к себе, и я усаживаюсь рядом. Вот вам и еще одно изменение, случившееся с тех пор, как мир стал серым: вкус еды стал другим. Я даже представить себе не могла, насколько солнечная желтизна перца улучшала его вкусовые качества или краснота – томатный соус на равиоли, который теперь выглядит отвратительным шлепком грязи.

Я отодвигаю тарелку.

– Я не голодна, папа. Съела на ленч огромный сэндвич.

Произнося эти слова, чувствую, как опять краснею. Не могу ему сказать, что серое пространство действует на все, отнимает голод, чувства. Я хочу кому-то сказать, очень хочу. Но не могу рисковать. Не могу допустить, чтобы папа подумал, что его единственная дочь на дороге в Крейзи-Таун, той самой, по которой уже прошла его бывшая жена. Он бортанет и меня, если узнает? Отправит куда-нибудь?

Нет. Он не должен узнать.

Отец и Тед переглядываются: молчаливое «ох уж эта молодежь» одновременно выводит из себя и успокаивает.

– Знаешь, Остин где-то здесь... – говорит Тед, оглядывая толпу. – Вы двое еще не пообщались?

– Нет, я его не видела, – лгу я, заставляю себя отправить в рот вилку рукколы (для меня салат каменного цвета), чтобы не сказать Теду ужасную правду: у меня с Остином нет повода для общения.

Остин всегда присутствовал в моей жизни, но находился вне пределов досягаемости. Мы играли маленькими детьми, но когда пришла пора идти в начальную школу, он отправился в дорогую частную, тогда как меня определили в обычную городскую. Так что наши различия обозначились сразу: он – избалованный самовлюбленный говнюк, мать и отчим которого богаче бога, а я – странноватая девица, обожающая рисовать, чья мамаша рехнулась и убила своего ученика-вундеркинда.

Так что никаких точек соприкосновения быть у нас не может по определению.

Я замечаю Хитер: она приближается к нашему столику с застывшей улыбкой чихуахуа и развевающимися светлыми волосами.

– Что ж, это сигнал, – говорю я, не обращая внимания на то, как грубо это звучит. Поднимаюсь со стула аккуратно в тот момент, когда она подходит к нам.

– Оливия! С чего такая спешка? – спрашивает Хитер, нервно поправляя, вероятно, розовое отрезное платье и наблюдая, как я отодвигаю стул.

– В туалет, – чирикаю я, проскальзываю мимо нее, но направляюсь к бару.

Бармен выглядит молодым. Я думаю, он чуток обкуренный, во всяком случае, выглядит таким. Заказываю «Стеллу», когда подходит моя очередь, в надежде, что туман в голове заставит его забыть о необходимости поинтересоваться моим удостоверением личности.

– Вам двадцать один? – спрашивает он с кубинским акцентом.

– Если на то пошло, мне двадцать два, – отвечаю я, помня не дающий осечки девиз Райны: «Стой на своем, пока не доживешь до этих лет».

После паузы он пожимает плечами.

– Хорошо, Мейми, как скажете. – Поворачивается, берет стакан, начинает наливать. Я достаю из кошелька пару долларов, кладу в его банку для чаевых с таким видом, будто для меня это обычное дело.

– Gracias[8 - Gracias – спасибо (исп.)], – улыбаюсь я ему. Его взгляд на мгновение задерживается на моей груди.

– Г-м-м. – Кто-то откашливается у меня за спиной и похлопывает по плечу. По спине пробегает холодок.

Я медленно поворачиваюсь, ожидая наткнуться на неодобрительный взгляд папы или Хитер. Но это Остин Морс. Он смотрит на стакан в моей руке и ухмыляется.

– Только не торопись, детка, хорошо? А не то еще облюешься.

Все в Остине Морсе говорит об одном: «Я всегда был лучше, чем ты», – от идеально уложенных густых рыжевато-соломенных волос, волевой челюсти и ровных зубов до, как говорила моя мама, геркулесовской фигуры. Рост шесть футов и два дюйма, капитан школьных команд по плаванию и лакроссу[9 - Лакросс (от фр. la crosse – «клюшка») – командная игра, в которой две команды стремятся поразить ворота соперника резиновым мячом, пользуясь ногами и снарядами, представляющим собой нечто среднее между клюшкой, ракеткой и сачком. В Канаде игра является национальным летним видом спорта.]. Дерзкий, надоедливый кретин с телом греческого бога. Просто удивительно, что чуть ли не всю жизнь его воспитывал Тед Оукли, который женился на матери Остина, когда тот был еще младенцем. От Теда Оукли моя семья видела только хорошее даже после ареста мамы, и я не могу представить себе, как вышло, что Остин не впитал в себя хотя бы капельку доброты отчима.

– Между прочим, я пью с четырнадцати, – говорю я.

– Правда? – Он оглядывает меня с головы до ног. – Я слышал и о другом, что ты делала с четырнадцати...

Не следовало мне проглатывать его наживку, но я проглатываю.

– Например?

– Сама знаешь. Я вроде бы помню эпическую историю о том, как ты дровичла Хиту Пратту в подвале дома его родителей.

Я хорошенько прикладываюсь к пиву, надеясь, что холодная жидкость собьет румянец с моих щек.

– Хит Пратт только мечтал об этом. Сомневаюсь, чтобы я подошла к нему, даже если бы кто-то одолжил мне свою руку.

– Так ты у нас ханжа? – шепчет он, наклонившись к моему уху, потом внезапно выхватывает стакан из моей руки, выпивает одним глотком и протягивает мне пустой стакан, лукаво улыбаясь. – Это огорчительно.

Мне действительно хочется ударить его.

– Я не ханжа.

Он смеется.

– Сможешь доказать?

Я вижу, как он переглядывается с другими парнями из школы Финнегана: Брюс быстро кладет на стол нож для стейка, который держал у горла Митча, едва замечает мой взгляд.

Внезапно я чувствую, что более ни секунды не могу находиться в этом зале, где все смотрят на меня, пытаются не смотреть, но ничего не могут с собой поделать... словно я – лежащая на асфальте жертва автомобильной аварии, а они медленно проезжают мимо, чтобы получше разглядеть, как сильно мне досталось.

Я дожидаюсь, пока бармен отвернется, а потом перегибаюсь через стойку и хватаю первую попавшуюся под руку бутылку: «Серого гуся». Потом

разворачиваюсь на каблуках и направляюсь к двери.

– Эй, Прудиди?[10 - Прудиди – уменьшительное от англ. prude (ханжа).] – В его голосе слышится разочарование.

– Иди со мной, если хочешь. – Не знаю, почему я ему это предлагаю. Мне без разницы, пойдет он или нет. Мне даже без разницы, если он утонет.

Остин колеблется.

– И ты называешь меня ханжой? – спрашиваю я. Поворачиваюсь, прохожу через фойе, потом миную дверь, и меня облепляет удушающая жара.

Через несколько секунд шипит пневматика расходящихся створок двери, и вот он стоит на бетоне рядом со мной.

Глава 3

– И где этот блинский костер? – спрашивает Остин. Мы идем вдоль берега, он в нескольких шагах позади.

Я не отвечаю. Остин Морс заслуживает страданий от девичьего молчания, если вы спросите меня. Чем дальше мы уходим, тем больше становится комок у меня в горле. Он уже размером с кулак. Мы приближаемся к моему выдавшему виды старому дому – отец построил его сам, мать выкрасила в ярко-пурпурный цвет, – возвышающемуся на сваях, будто неуклюжий, обесцвеченный пеликан. «О, Сюзанна».

– Ты знаешь, куда мы идем? – спрашивает он. Я оглядываюсь, но не отвечаю. – Берег-то длинный.

– Доверься мне, – говорю я. – Я знаю эти места лучше, чем ты думаешь.

Город призраков слишком близко. Так близко от «О, Сюзанны», что меня это убивает. Прежде чем построили Город призраков, мы могли любоваться Майами. Теперь – только тенями, отбрасываемыми его массивным фасадом.

Бутылка охлаждает подмышку, водка плещется у ребер. Я не знаю, может, это проявление шизофрении, но, клянусь, я слышу ее – маму – в «шур-шур» океана. Волны, набегающие и откатывающиеся назад – длинные, худые мамины пальцы, пробегающие по клавишам, поднимающиеся на мгновение, словно глубоко вдохнуть.

– Давай присядем здесь, – наконец объявляю я, бросаю сумочку и усаживаюсь на холодный песок перед уже много лет заброшенными пирсами, небезопасными, вход на которые запрещен. Дерево выедено солью и шершавое, кое-где блестит от водорослей, везде торчат ржавые гвозди. Когда я училась в шестом классе, один старый пирс развалился и парочка, стоявшая на нем, оказалась в больнице с травмами позвоночника. В результате нижняя половина тела у обоих осталась парализованной.

Остин усаживается рядом со мной.

– Пустынно здесь. – Он просеивает песок между пальцами и смотрит на бутылку между нами. Вскидывает брови. – Запивать нечем?

– Мне запивать не обязательно, – отвечаю я, хватаю бутылку с песка, вытаскиваю пробку и делаю большой глоток. Водка обжигает, по пищеводу и желудку растекается тепло.

Остин в изумлении смотрит на меня.

– Ну, ты даешь. Никогда не видел, чтобы девушка пила водку из горла?. – По голосу чувствуется, что я произвела на него впечатление. С парнями вроде Остина такое случается всегда, если они встречают девушек, подобных мне: вышедших не из богатых семей, в детстве бегавших босиком по песку. Он добавляет: – Да и немногие парни на такое способны. Я, разумеется, в их числе. – Остин улыбается, тянется за бутылкой, поднимает, и струя водки течет ему в рот. Он проглатывает, потом начинает кашлять, гримасничает, трясет мягко-серой (светловолосой) головой. – Ух. Хороша...

– Я могла украсть для тебя только лучшее, Остин Морс. – Я вновь прикладываюсь к бутылке, слушая, как волны играют одну из маминых сонат. Древние пирсы трещат и стонут. Делаю еще глоток, прежде чем он забирает бутылку. Я уже чувствую, как оттаиваю по краям, согреваюсь. Алкоголь работает: воспоминания о маме, о Штерне затуманиваются, уходят, становятся не такими важными.

– Разве ты не училась некоторое время в какой-то художественной школе? – Он делает еще глоток, вытирает рот подолом рубашки, и я вижу его загорелый живот. Полоску белых (светлых) волос, уходящую вниз, в светло-серые (хаки?) шорты. Я удивлена, что ему известно о моем отсутствии. Не думала, что его радар отслеживал меня.

– Да... училась. – Я упираюсь ладонями в песок, вспоминаю короткий период свободы, вдали от Майами. – А разве ты не учился в «Рэнсом эверглейдс»[11 - «Рэнсом эверглейдс» – одна из ведущих частных школ Майами (обучение с 6-го по 12-й класс). Основана в 1903 г.], прежде чем тебя выгнали за торговлю наркотиками, и твой отец перевел тебя в «Финнеган»?

– Да, было такое, – отвечает он и улыбается, словно все это сущая ерунда, если ты – сын мультимиллионера. – Когда моего приятеля Криса арестовали во время того же рейда, он в школу не вернулся. Получил срок в исправительной колонии, а потом нашел работу в «Тако белл»[12 - «Тако белл» – международная сеть ресторанов быстрого питания адаптированной мексиканской кухни.]. И... как тебе Мичиган? – спрашивает Остин, вероятно, с тем, чтобы сменить тему.

– Скучота, – отвечаю я. – Средний Запад. Полно толстяков.

– В твоей школе? Я думал, художникам положено голодать. – Он икает и корчит гримасу. Я смеюсь, мои пальцы вышагивают по песку к «Серому гусю». Тот факт, что у Остина обычные человеческие реакции, в частности, икота, по какой-то причине удивляет меня и поднимает мне настроение.

– Нет. Они сидят на траве и весь день едят «Велвиту»[13 - «Велвита» – американский сыр, разновидность чеддера. На рынке с 1908 г.]. Даже не рисуют. – Я сбрасываю туфли, вскакиваю и начинаю кружиться, чувствуя, как тепло растекается по всему телу, остановиться не могу, и мне совершенно все равно, что подумает обо мне Остин Морс или кто угодно в Майами или в Мичигане. Мне на это абсолютно наплевать.

Несколько секунд молчания, а потом:

– Брюс говорил мне, что закрутил с Райной. – Остин поднимается с песка, берет ракушку и зашвыривает через один из пирсов в воду.

– Да. – Я смеюсь, тоже нахожу ракушку и бросаю ее. – Ты лучше скажи ему, чтобы в следующий раз он надевал перчатки, когда будет подкатываться к одной из моих подруг.

– А ты лучше скажи ей, чтобы она поменьше болтала. – «О-о-ох. Все внутри горит».

Я игриво толкаю его.

– Да ладно. Моя девушка знает, что делает. Поверь мне.

– В этом случае, – он толкает меня, – можешь ты дать мне номер ее мобильного?

Я иду дальше, проигнорировав его последний вопрос – «Я действительно заигрываю с Остином Стивенсоном Морсом?», – зарываясь ногами в песок, наблюдая за пеной, которую оставляют океанские волны, откатываясь от берега.

Мне нравится говорить с Остином Морсом, потому что нет в нем никакой глубины. Он наполнитель. Пух. Одна приятная глазу видимость. Я для него инопланетное существо – пазл, который еще только надо сложить. И есть что-то возбуждающее в подчинении себе такого человека. Эта власть, идущая от ощущения, что ты – девушка, знающая, что тебе нечего терять.

Когда я ловлю на себе его взгляд, что-то кружится у меня в груди, бурное и шипучее, как шампанское.

– Так... что ты думаешь о новом кондо? – Он встает и подходит ко мне, предлагая мне бутылку. – Крутой, правда?

Еще большой глоток, и мир начинает чуть покачиваться. Я хмурюсь, глядя на Остина.

– «Елисейские поля» – это мрак, – отвечаю я и понимаю, что язык начинает заплетаться. – Райна и я – мы называем этот кондо Городом призраков, знаешь? Только не говори отцу. Потому что он за него заплатил! – Я икаю, спотыкаюсь о камень, вновь пытаюсь покружиться.

– Вау, девочка. – Он ловит меня, прежде чем я плюхаюсь лицом в песок. – Может, нам пора забрать у тебя бутылку водки?

– Подожди подожди подожди. – Я поднимаю руку с выставленным указательным пальцем. Протягиваю к его губам. – Послушай, Ос-тин. Никто не поставит Ливи в угол[14 - Аллюзия на фразу «Никто не поставит Малышку в угол» из фильма «Грязные танцы (1987).]. – Я смеюсь, снова кружусь. – Ты видел тот фильм, да? Я знаю, он старый, но о-о-очень хоро-о-о-ший. – Что-то внутри отщелкивается, и дикое, пьянящее чувство вырывается из клетки. Я хватаю бутылку, прикладываю ко рту еще для одного глотка. – Так мы пойдем купаться или как?

– Не думаю, что это такая уж хорошая...

Я не даю ему закончить.

– Ш-ш-ш. Это отличная идея.

Я направляюсь к волнам, стягивая платье вниз, обнажая черный кружевной бюстгальтер, который купила у французского изготовителя нижнего белья на Этси[15 - «Этси» – сайт-магазин для изделий ручной работы и старинных товаров.]. Остин застывает, наблюдая за мной. Я чувствую себя сиреной, истории о которых мама читала мне из «Одиссеи», словно прямо сейчас заморозила Остина Морса, стягивая платье вниз, ниже ребер, ниже пупка, с ягодиц, бедер, голеней. Я могу сказать, что он дышит по-другому – медленнее, глубже, – когда я поднимаю платье с песка, оставшись только в бюстгальтере и трусиках, и бросаю ему.

Дрожь поднимается по бедрам.

– Теперь ты, – объявляю я. – Пора мне увидеть тебя без рубашки.

– Но мой бюст не такой сексуальный, как у тебя, – шутит он, расстегивает единственную пуговицу, открыв грудь на дюйм. Подступает ко мне. Внезапно слышится вой сирен, яркие огни мигают за спиной Остина. Копы.

Остин оборачивается, его глаза округляются, полные ужаса. На мгновение он застывает.

– Черт. Одевайся, Оливия. Мы должны идти.

Он бросает мне платье. Я наблюдаю, как оно летит по дуге и приземляется мне на ноги. Подхватываю его, внезапно в замешательстве, испуганная. Допрыгалась. Папа меня убьет. «Нам надо спрятаться».

– Спрятаться? Не получится. – Остин подходит ко мне, поднимает платье, сует мне в руки. – Пошли, Лив. Не будем терять время.

Копы все ближе. Я отшатываюсь от него... пьяная, отчаявшаяся.

– Ты иди.

Он качает головой, словно не может поверить, что кто-то может быть такой тупой, а потом бежит к «Елисейским полям». Оборачивается еще раз, последний, чтобы крикнуть: «Давай!» Но фонари копов слишком близко, так что он прибавляет шагу. Я натягиваю платье через голову и наблюдаю, как тело исчезает в его тених, все еще застывшее, а страх прокладывает тропу в тумане, который застигает разум. Завывания сирены все ближе, и, понимая, что ничего другого не остается, я ныряю под настил ближайшего пирса. Вжимаюсь в темноту, от избытка адреналина горит кожа, тело покалывает иголочками. Под пирсом воняет: чем-то рыбным и неприятным.

Патрульный автомобиль останавливается. Я задерживаю дыхание и замираю. Лучи фонарей приближаются. Коп щелкает языком, словно сзывает куриц, а не подростков. Я не могу допустить, чтобы они меня нашли: папа очень нервно воспринимает все, связанное со мной, особенно после того, как я вылетела из художественной школы.

Кра-а-ак. Что-то трескается у меня за спиной. Шаги. Чье-то дыхание. «Ох, дерьмо». Горло сжимает. Я так напугана, что едва не подпускаю в трусы.

- Сигарета у тебя есть? - спрашивает грубый, хриплый голос.

Медуза, местная безумная бомжиха, стоит за спиной. Протягивает мне расческу с выломанными зубьями.

- Я дам тебе это. Бесплатно, за сигарету, - говорит она.

- Нет, - шепчу я, еще не придя в себя, осознавая, что это правда: моя сумочка осталась на песке, там, где сейчас бродят копы с фонарями. Дерьмо в квадрате. - Ничего нет.

- Ничего нет? Nada?[16 - Nada - нет (исп.).] - Она спрашивает, глядя на меня темными, затуманенными глазами.

- Сюда, Том! - Это один из копов.

Когда фонари сдвигаются в нашем направлении, какой-то глубинный инстинкт прорывается на поверхность, и я бросаюсь в воду. Плыву в злых волнах, холод пронизывает тело, я ухожу под воду с головой и продолжаю плыть.

Когда поднимаю голову, я уже в пятидесяти футах от берега. Выкашливаю соленую воду изо рта, гадая, как скоро уйдут копы. Прибой сегодня сильный, океан чернильно-черный. Голос одного копа добирается до меня, как далекое бульканье, я вижу, как луч по воде смещается ко мне, снова ныряю, отплываю подальше, задерживаю дыхание, насколько могу.

Наконец, больше не в силах терпеть, поднимаю голову и хватаю ртом воздух. Но в тот самый момент на меня обрушивается волна. Соленая вода наполняет рот, нос, легкие. Я отплеываюсь и кашляю, пытаюсь поднять голову повыше, но течение тащит меня назад. Вниз. Под поверхность. Тащит все сильнее.

Я изо всех пинаюсь, пытаюсь поднять над водой губы, ноздри, что угодно. Тело начинает слабеть, пока я барахтаюсь, теряя последние силы, ради единственного глотка воздуха. Слышу только удары собственного сердца,

растворяющиеся в гуле воды, которая хочет меня поглотить. Ее много, много, и я не могу выбраться из нее. И тут перед моим мысленным взором возникает Штерн: каким я видела его при нашей последней встрече, позолоченный солнцем, цвета меда. Его рот, губы, язык двигаются, озвучивая слова песни, которую он поет: «О, Сюзанна, я до смерти замерз, о, Сюзанна, не плачь ты обо мне, не плачь».

Сквозь водочный туман до меня доходит: Штерн умер здесь. Именно здесь. Здесь его тело сбросили в воду. Океан забрал его; заберет и меня. Уже забирает. Борьбаться смысла нет. Не могу остановиться. Не могу. Не могу...

«Я замерзла до смерти Сюзанна замерзла до смерти не плачь не плачь не плачь ты обо мне».

И тут из-под воды что-то хватает меня: руки, за талию. Тащат. Поднимают. Сердце вновь бьется. Воздух. Я приподнимаюсь над волнами, выкашливаю воду из легких, все горит. Я не борюсь, какая там борьба. Я не знаю, то ли возвращаюсь к жизни, то ли ухожу в другой мир.

Мгновения спустя эти же руки укладывают меня на берег, тогда как я жадно хватаю ртом воздух и рыдаю, заново учусь дышать. Все болит, все. Я открываю глаза, всматриваюсь в фигуру, которая рядом со мной, сквозь пелену слез.

Юноша.

Пытаюсь разглядеть его черты в свете яркой луны. Но соображаю еще плохо, перед глазами плывет, и я ничего не вижу, пока нас не освещает яркий прожектор проплывающего мимо моторного катера. Свет на мгновение выхватывает его лицо.

Мир по-прежнему здесь, невероятно спо-койный.

Нет. Нет.

Невозможно.

Сердце рвется из груди. Тело превращается в ледышку. Я вот-вот потеряю сознание.

Когда он, наконец, поворачивается ко мне, лицо расплывается в улыбке: этой прекрасной, солнечной улыбке. Всегда заставлявшей меня улыбнуться в ответ.

Штерн.

Глава 4

Я не могу оторвать от него глаз: черные завитки волос, белизна кожи, маленькая ямочка на подбородке. Мой Штерн. Мне он снится. Я крепко закрываю глаза, чувствую загривком прохладный, влажный песок. «Проснись, Оливия. ПРОСНИСЬ». Я щипаю себя, сильно, несколько раз моргаю, но ничего не изменяется.

Ладно. Не сплю. Тогда – умерла. Наверняка.

«Серое пространство. – Машины слова скребут в черепе. – Место мертвых».

Вдохи-выдохи короткие, быстрые, голова легкая-легкая, и мне, наконец, удастся прошептать: «Штерн». Удастся произнести его фамилию вслух, но ощущение такое, будто все мое тело вдруг забросали тяжелыми камнями.

– Ливер.

Вот он: знакомый изгиб губ, произносящих это слово... это прозвище, которое сидит в запертой коробочке внутри меня. Вот они: идеальные, очень мягкие губы в нескольких дюймах от моего лица, произносящие это слово. Мне снится что-то поразительное, ужасающее и невозможное.

– Тебя здесь нет. – Я должна за это держаться. Это факт.

– Правда? – Он смотрит на свои длинные, белые руки, кожу предплечий ниже закатанных рукавов фланелевой рубашки. – А где я? – спрашивает он.

– Ты мертв. – И это тоже факт. Штерн мертв. Штерн мертв, потому что моя мама убила его.

Штерн хмурится.

– Я полагаю, одно не исключает другого, так?

– Наоборот. Исключает. Одно определенно исключает другое. – Я тру лоб, пытаюсь медленно сесть.

– Очевидно, нет.

– Очевидно, да. – Мертвая, спящая или рехнувшаяся. Одно из трех. – Ты не сможешь убедить меня в чем-либо, если я знаю, что это невозможно.

– Признай, если что-то и невозможно и существует, тогда о невозможности говорить нельзя. – Штерн прикрывает рот, когда улыбается, чтобы спрятать узкий зазор между зубами. Он придвигается ко мне по песку, его рука в считанных дюймах от моей. Закрывает глаза.

– Я почувствовал тебя, Ливер. Я почувствовал, что ты приближаешься ко мне. И я потянулся к тебе, и оказался здесь. На этом пляже. Перед «О, Сюзанной». И ты была здесь. – Он трясет головой, открывает глаза, смотрит за пирс и дюны на мой старый, ветшающий пурпурный дом. Он по-прежнему нежилой, даже после десяти месяцев. Продать его невозможно. Папа говорит, что «это чертов рынок», но я подозреваю, что причина в убийстве, произошедшем в нескольких ярдах от дома. Невидимая кровь пропитала песок, ползет к нему, как колючие вьюны. Он понижает голос до шепота: – Я утонул, так? Я это помню. Больше ничего. Только воду.

– Да. – У меня перехватывает горло. Я дрожу рядом с ним: от него идет холод, даже от кончиков его пальцев: такое ощущение возникает, если в жаркий день суешь руку в морозильник.

– Я помню, – спокойно говорит Штерн. – «О, Сюзанна» – последнее, что я видел. Единственное, что я помню. – Он смотрит на меня, белки его глаз словно светятся.

Мертвый. Он мертвый. Сон или призрак. Это слово пробивает тоннель к какой-то темной части моего мозга, нажимает какую-то невидимую кнопку, и все внезапно становится совершенно реальным и не менее нереальным одновременно. Переход, переход между мирами.

Серое пространство. Я попала в некое место, в другое измерение, без цвета, населенное мертвыми?

«Нет. Она его выдумала. Это не настоящее место, это вообще не настоящее». Мама выдумала Серое пространство, место, где нет искусства, нет чувств, холодное, темное место, в котором чувствуешь себя мертвой. Так она пыталась здраво описать, куда попадает, когда депрессия особенно сильная, когда создавать музыку нет никакой возможности.

Оно не настоящее.

Меня трясет, я обхватываю руками грудь. Я должна сохранять спокойствие. Я должна думать логически.

– Ты мне снишься. – Озвучивание этих слов придает им убедительности. – Ты мне снишься, потому что мне тебя недостает, потому что я постоянно думаю о тебе. В прошлом году говорили об этом на уроках психологии, когда обсуждали сновидения. – Я стучу себя по голове, пытаюсь проснуться.

– Ливер. Прекрати. Послушай меня, – в голосе Штерна слышится волнение. Ему надо, чтобы я его выслушала.

Его баскетбольные шорты заканчиваются чуть выше колена и кажутся более реальными, чем все его тело. Он сильно прибавил в росте к тому лету, когда ему исполнилось семнадцать, к последнему лету, лету, когда он умер. Он в клетчатой рубашке. В красную (оттенка знака «Стоп») и зеленую клетку. Рукава закатаны.

Я пытаюсь ухватиться за песок, чтобы найти точку опоры, но он просачивается между пальцами.

Мы нашли эту рубашку вместе. В торговом центре, на рождественские каникулы. Он перемерял с десятков других, прежде чем нашел эту, и потом носил ее каждый вечер, достаточно холодный, чтобы надевать фланель. Сейчас, конечно, и красное (как знак «Стоп»), и зеленое (как скошенная трава) стало серым. Белые полосы между квадратами серого я разглядеть не могу.

Штерна кремировали после того, как океан вышвырнул на берег его тело. Его тело – пепел. Тело Штерна – пепел. У Штерна нет тела. Штерн больше не существует. Я смотрю на юношу из пепла. Его нет.

– Ты должна помочь мне, Ливер. – Он говорит сдавленным голосом... голосом, от которого у меня сжимает горло. Слышать призрак моего лучшего друга – даже если он в моей голове и нигде больше, – который говорит так, будто ему плохо, это ужасно. – Я застрял. В месте, где меня быть не должно. Ты должна помочь мне выбраться оттуда. Думаю, я сейчас здесь, с тобой, по этой причине.

– Я не могу тебе помочь. Ты... ты не настоящий.

Я замерзаю. Мое платье мокрое, прилипло к коже, спина в песке. Я отказываюсь встретиться с ним взглядом, хотя чего мне действительно хочется, так это смотреть на него и верить, что он настоящий и живой, и обнимает меня, и мы держим в руках по банке дешевого пива, и горит костер, и рядом лежит доска для серфинга. Я снова щипаю себя, сильнее, чем прежде. «Почему я просто не могу проснуться?»

Штерн хмурится.

– Ты такая упрямая, когда думаешь, что права. – Он качает головой, его черные кудри мотаются из стороны в сторону. Кожа светится. – Всегда была такой упрямой.

Бум! Над нами внезапно взрываются фейерверки. Мне они всегда нравились. Только в прошлом году Штерн, и Райна, и я лежали на палубе яхты дяди П., смотрели на них, раскрыв рты, обращенные к небу, словно яркие звезды собирались приземлиться на язык, а потом растаять в горле, как сахар. Теперь

все эти звезды для меня пепел. Я пытаюсь встать. В желудке жжет, и когда я наклоняюсь вперед, к коленям, меня рвет соленой водой.

«Процесс пошел. Ты сходишь с ума. Шизо шизо шизо».

Я выпрямляюсь. Не могу заставить себя посмотреть, здесь он или нет, был он здесь или нет, хватаю сумочку и бегу по песку.

– Лив! – Я слышу его далекий голос, хотя ощущение такое, что он шепчет мне в ухо.

Его голос тает, потому на часть моего мозга, в которой живет надежда, говорит: «Все это не настоящее, скоро закончится. Сны всегда тянутся и тянутся, но потом заканчиваются. Они заканчиваются. Ты не чокнутая. Тебе это снится. Просто снится».

Но другая часть мозга говорит: «Серое пространство. Может, оно настоящее. Как оно нашло меня?»

Я бегу – голова кружится – по пустынному пляжу, мимо полусгнивших пирсов, песок взлетает, осыпает икры. Дыхание у меня частое и неглубокое. В горле пересохло. Я чувствую, как окончательно тает водочный туман.

Пьяная. Я напилась. До поросычьего визга. Практически ничего не ела, расстроилась, испугалась, вот и получила водочную галлюцинацию о моем лучшем друге, вернувшемся с того света, чтобы спасти меня. Вероятно, я только думала, что тону, а на самом деле волны выбросили меня на берег.

Я крепко прижимаю ладонь ко лбу, словно пытаюсь не дать мозгу выпариться через кожу, смотрю на фары автомобиля, который мчится по темной дороге. «Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая».

Повторяю эту мантру снова и снова, пока не успокаивается дыхание. Вызволяю велосипед с автомобильной стоянки у «Елисейских полей». Садлю его, ставлю ноги на педали. Медленно еду домой по тротуарам, пешеходным дорожкам, подальше от шоссе, стараясь сосредоточиться только на дороге, стараясь заглушить собственный разум.

Плумерия растет вдоль улицы, тротуар тянется передо мной, сердце громко стучит в такт словам, которые я повторяю в голове и уже начинаю им верить.

Призраки не настоящие.

«Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая».

Глава 5

– Они не настоящие. Я знаю, это факт, – говорит Райна, наклонившись ко мне, ее темные волосы, заплетенные в косу, спускаются по спине, большие глаза блестят в солнечном свете. – Кассиди закончила прошлый год президентом комитета мини-сисек, а теперь у нее прямо-таки буфера. Это так очевидно. Такое... – ее руки рисуют арки от ключиц до нижних ребер, – ...за ночь не вырастет.

Райна продолжает разглядывать раздутый профиль Кассиди с расстояния в несколько сотен футов. Кассиди и еще несколько девушек, которых я знала в средней школе, сидят на расстеленном на траве одеяле, курят гвоздичные сигареты. До меня долетает горько-сладкий запах дыма. Мы с Райной дружили с Кассиди в шестом классе. Но потом она кинула нас ради более крутых подруг, которые принимали противозачаточные таблетки и выбривали виски. С тех пор Райна пытается во всем конкурировать с ней.

Иногда я думаю, что Райна конкурирует и со мной: кто из нас более клевая, забавная, уникальная. Я не знаю, зачем ей это нужно. Я ей не соперница. Райна, конечно же, на голову выше. Ее мать кубинка, отец из Миннесоты, и что она ни делает, куда ни идет, люди таращатся на нее. С ней трудно не соглашаться. Обычно как она скажет, так и будет.

Взрыв дикого смеха доносится от их ком-пании.

– Silicon, точно? – Когда я говорю, в голове пульсирует боль. Каждый звук – голос Райны, скрип качелей, жужжание насекомых – ножом режет затылок. Малейшие вибрации бьют меня как током.

Восемь дней до слушаний, на которых маме вынесут приговор. Восемь дней, и она сможет покинуть камеру, где ее держали десять месяцев, как какого-то рычащего зверя. Восемь дней до того, как она попросит судью признать ее умалишенной и ее отправят в другую клетку.

Я оглядываю парк в поисках тех, у кого может возникнуть желание бесплатно прокатиться на карусели, к которой я приставлена. Большинство подростков, которые болтаются вокруг, хоть раз да пытались: проскакивали мимо меня и запрыгивали на одну из древних фаянсовых лошадок, надеясь, что я не замечу, что едут они зайцами. Этим летом у меня только одна работа: собирать по два доллара и пятьдесят центов, отрывать билет и кричать на тех, кто нарушает правила департамента парков и развлекательных заведений Майами. Ну, а тех, кто берется за эту работу, на которую мне посоветовал устроиться папа, называют карусельными суками.

Я прижимаю колени к груди, обнимаю их руками. Бахрома обрезанных шорт прилипает к бедрам, футболка, выданная департаментом парков, душит: горло такое узкое и высокое. Я раздражена, мне дурно, я потная. Снимаю с руки резинку для волос, убираю их с шеи и завязываю узлом.

– Ты в порядке, крошка? – спрашивает Райна. – Что-то ты бледная. – Она, как и папа, ничего не знает про мои глаза. После того, как доктор Левин попытался отправить меня к психиатру, я не рискую сказать кому-нибудь еще. Собираюсь скрывать мою цветовую слепоту... и чем дольше, тем лучше.

Я не знаю, что и ответить. Могу думать только о прошлом вечере: одна на берегу, холод стекает с кончиков его пальцев и передается мне через песок. С кончиков пальцев Штерна. Почему он казался мне таким настоящим?

– Я просто...

Прежде чем я успеваю закончить предложение, два парня, которых я знаю по каким-то пляжным вечеринкам прошлого и позапрошлого лета – большие любители жечь костер, всегда воняющие водорослями, – прыгают на карусель, не заплатив ни цента, и начинают погонять лошадей, шлепая по бокам и издавая порнографические стоны. Отвратительно.

– О-ох! Прогони их, девочка! – Райна хлопает меня по спине.

Я встаю со скамьи. В голове все сильнее пульсирует боль.

– Сначала надо заплатить за билет! – кричу я. – Или вы выметаетесь с карусели. Правила устанавливаю не я. Каждый раз одно и то же.

Слава богу, они не возражают. Один – низкорослый, широкоплечий, с сальными волосами, в футболке с Бобом Марли, щурится на меня поверх солнцезащитных очков.

– Оливия, так? – спрашивает он, рукой вытирая пот со лба, потом руку – о мешковатые шорты. – Приходишь иногда на вечеринки на Бист-Бич, да?

Я киваю.

– Да. Приходила.

– Я думал, ты переехала или что-то такое. – Он замолкает. – Ты вернулась, потому что твою?..

Второй парень кашляет. Поклонник Боба Марли разом обрывает фразу. «Маму». Он знает. Они оба знают. И этим я обретаю над ними какое-то подобие власти: когда девушка, у которой мать – убийца, просит тебя что-то сделать, ты это делаешь. Не задавая вопросов.

– Мою что?

– Э... э. Я... я подумал о ком-то еще, извини... – отвечает он, его щеки темнеют. Наверное, он краснеет; как хорошо осознавать, что это я еще различаю.

– Наслаждайтесь сегодняшним визитом сюда. У нас прекрасный парк, – и я приклеиваю к лицу широкою, насквозь фальшивую улыбку.

Они смотрят на меня, и в их взглядах читаются зачарованность и страх, будто я могу внезапно прыгнуть на кого-то из них и вцепиться в горло. «Еще увидимся», – говорит второй, высокий, чуть сутуловатый, прыщавый, они поворачиваются и уходят.

В этом Мичиган отличался в лучшую сторону: там большинство ничего не знало о моей маме. Я рассказала только моим самым близким друзь-ям: Таю, Руби, Аманде, и то по минимуму. Мне пришлось объяснять, почему я пропустила две недели занятий: на похороны, на траур. И когда вернулась в школу полубезумной – внезапно начинала плакать, или часами сидела, уставившись в одну точку, или ударялась в пьяные загулы, – они старались не лезть в душу. Поощряли есть побольше шоколада и плакать в кровати под мыльные оперы.

Они сосредотачивались на собственной жизни, на домашних заданиях, которые я не выполняла, на классных занятиях, которые я не посещала. Руби за неделю нарисовал мой портрет маслом, о чем я понятия не имела. Потому что много спала.

Просыпалась рядом с парнями, которых видела в коридорах, но чьих имен не знала. Иногда не могла вспомнить, как они вообще оказались в моей комнате в общежитии или что мы делали. Как много я им позволяла, хотя не сомневалась, что дойти до конца не позволяла никому. Какая-то безумная моя часть приберегала это последнее, хотя кто знает почему. Я знала только одно: человек, которому я хотела отдать все, ушел навсегда.

Я просто не хотела думать. Не хотела освобождать место для мыслей. Если бы эта машина завелась, она бы уже не остановилась, раскручивалась бы и раскручивалась, пока не взорвалась бы у меня в черепе.

Я возвращаюсь к Райне, сажусь на скамью. Ноги подгибаются.

– Отличная работа, – она хлопывает меня по плечу. – Нелегкую ношу ты взвалила на себя, Оливия Джейн Тайт, и никто не справился бы с этим лучше, чем ты. – Она откидывается на спинку скамьи, допивает «Маунтин дью» и намеренно громко рыгает. Даже отрыжка у нее клевая. Это раздражает.

– Так ты развлеклась прошлым вечером? – спрашивает Райна. – Говорила с этим Брюсом, у которого вместо головы головка? – Тут она смотрит на меня, глаза становятся большими, как блюдца. – Подожди-подожди... ты с кем-то закрутила? Поэтому ты сегодня такая странная?

С моих губ срывается стон, я смотрю на свои серые руки, лежащие на серых коленях. Мозг продолжает биться о череп.

– Нет. Определенно нет. Там был Остин Морс, и мы вместе выпивали на берегу, но появились копы... Он убежал. Мне пришлось прятаться в одиночку... Как бы то ни было... Это... это не имеет значения.

– Он убежал без тебя?

У меня нет сил говорить Райне, что я попросила его. Она наклоняется ко мне, кладет руки мне на колени.

– Что ж, ты дала ему понять... дала понять всем этим тупорылым парням из частной школы... они не могут ухлестывать за тобой и выйти сухими из воды.

– Да ничего особенного. Правда. Если на то пошло, я сама сказала ему, чтобы он убегал. Но потом... – Я замолкаю. Сказать это вслух другому человеку равносильно признанию в безумии. Райна скажет папе, как только выйдет из парка. Папа позвонит в больницу. Я приду домой, чтобы найти там армию санитаров, поджидающих меня со смирительной рубашкой. Они загрузят меня в фургон, запрут в комнате с обитыми мягким материалом стенами в психиатрическом отделении. А потом выяснят, что мир для меня стал серым, и уже не выпустят меня оттуда. Никогда.

– Потом?.. – подталкивает она меня, щурясь на солнце.

Я глубоко вдыхаю, глядя на пустую карусель.

– Райн, ты веришь в призраков?

– Э... редко. – Она смеется, убивает комара, усевшегося ей на руку. – А они тут при чем?

– Не знаю... просто вчера мне приснился странный сон. – Я лгу. Скрестив руки на животе, проглатываю комок, возникший в горле. Ее пренебрежение к призракам меня обидело, даже кровь чуть закипела. Закружилась голова, мне пришлось глубоко вдохнуть, что перед глазами очистилось, и только потом я продолжила: – Этот странный сон не выходит у меня из головы. – От волнения я снимаю резинку, заново сворачиваю волосы в пучок, цепляю резинку, отдельные пряди падают мне на плечи, прилипают к потной шее.

– Знаешь, что тебе нужно? Эротический сон. Может, этой ночью тебе приснится, как я милуюсь с Джоуной Тристом в центральном круге футбольного поля. Тогда ты полностью позабудешь свой кошмар.

– Б-р-р. Это звучит как кошмар, – пытаюсь я пошутить, но внутренности у меня скрутило узлом, и я чувствую, как с каждой секундой он затягивается все туже. – Плюс Джоуна Твист достиг потолка в седьмом классе. С тех пор скатывается все ниже. – Я вздыхаю. – Так грустно. Какой у него был потенциал.

– Каждому свое, – говорит Райна, пожимая плечами с пренебрежением, которое могут позволить себе только настоящие красавицы. Она вытягивается передо мной, и несколько парней, которых я не знаю, не могут оторвать от нее глаз. Отворачиваются, лишь когда она смотрит на них. – Памятник Штерну открывают на следующей неделе.

Желудок у меня уходит в пятки и тянет за собой сердце. «Точно», – бормочу я.

– Это какой-то еврейский ритуал, который проводят на кладбище. Все приходят, и говорят молитвы, и...

– Я знаю, что это, – излишне резко обрываю я ее.

Райна не реагирует.

– Так ты собираешься пойти? Я хочу сказать, я знаю, это странно, потому что... – Она замолкает.

– Можешь договаривать, Райн.

Райна вздыхает.

– Из-за твоей матери.

– Я думаю, мне пора работать. – Горло у меня сдавлено, слова еле прорываются наружу, словно им приходится пролезать сквозь узкую щель. После похорон я не видела родителей Штерна. Не хотела видеть, как они смотрят на меня, потому

что я дочь моей матери. Они винят меня. Я знаю, что винят.

Райна кивает, но определенно сомневается, что я хочу прервать разговор по этой причине.

– Да, конечно. Работа... это важно.

Я проверяю время по мобильнику. 16:30. Короткий вздох облегчения.

– Разумеется, – говорю я. – Но она уже закончилась. Пора домой.

– Хочешь, пойдём ко мне и посмотрим кино? Или приготовим сандей? По старинному рецепту? – Она забрасывает большую холщовую сумку на плечо.

Я обнимаю ее, потому что она по-прежнему моя самая близкая (живая) подруга.

– Не могу. Пообещала отцу, что сделаю для него кое-какую работенку. Предстоит разгрести дерьмо в Городе призраков.

– Печально, – говорит она. Бросает последний злобный взгляд на Кассиди и ее окружение. – Хочешь, чтобы я пошла с тобой?

– Хочу, но тебе нельзя. – Я поднимаю с земли и закидываю на плечи ранец для книг. – Папа не разрешает никого приводить, когда его нет, и он еще злится на меня за то, что я рано ушла с вечеринки, никому ничего не сказав. – Я отвожу глаза, боясь, что она уличит меня во лжи. – Позвонить тебе позже?

– Конечно, – говорит она, и я иду к маленькой будке, чтобы закрыть карусель. Ряды белых ламп разом выключаются. Теперь лошади более темные, тусклые. Заперев денежный ящик (практически пустой) в будке, я предлагаю Райне следовать за мной. Мы идем вдоль забора вокруг карусели, запираем калитку, чтобы никто не мог проникнуть на территорию без бдительного ока билетерши. Этим завершается моя дневная ра-бота.

После того как калитка надежно заперта, мы с Райной идем на автомобильную стоянку, где мой велосипед с сиденьем цвета банана посажен на цепь у знака «Стоп».

– Черт, – говорит она, глядя на мобильник. – Я забыла, что родителей Паркера этим вечером в городе нет. У него могут быть гости. Так что потом скинь эсэмеску, хорошо? – Она крепко прижимается ко мне, прежде чем мы расходимся к нашим экипажам. – Уже скучаю по тебе!

– Ты тоже, – говорю я, наблюдая, как она поворачивает ключ в замке. Морщусь, когда вижу, как ее стройная фигура ныряет в жаркий автомобиль (темно-синий, я помню, но теперь для меня черный), длинная коса змеится по спине.

«Тук-тук-тук», – стучит в голове молоток.

* * *

Восемь дней. Сердце стучит, когда я еду по обсаженной лилиями подъездной дорожке к Городу призраков; мой ранец впитывает в себя маленькие озерца пота со спины, в тех местах, где касается ее. Я встаю на педали, когда склон прибавляет крутизны, пот течет по рукам, лбу, шее. Восемь дней. Я задаюсь вопросом, что она делает целый день в своей камере? Гадаю, злится ли она из-за того, что мы не нашли миллион долларов наличными, чтобы выволить ее из тюрьмы, куда ей предстояло вернуться после вынесения приговора. С другой стороны, как она могла ожидать, что мы соберем миллион, если для залога у нас не нашлось бы и ста тысяч?

Я приковываю велосипед к фонарному столбу, достаю из ранца папку-гармошку, полную квитанций, контрактов, счетов – я перестала в них заглядывать, как только поняла, что каждый документ интересует меня не больше теоремы Пифагора, – прижимаю к груди и иду к сверкающему входу. Достаю ключи из бокового кармана моей плетеной сумочки, отпираю замок, открываю дверь, захожу.

– Папа? – зову я: рассчитывала увидеть его здесь, тоже с папками, помочь подготовить кабинет к совещанию, которое должно начаться через час, поставить стаканы, бутылки. Кондиционер работает, и моя кожа покрывается мурашками, пока я добираюсь до середины вестибюля. Пахнет только что законченным строительством. Такой запах надолго остается в подвалах, но вестибюль, конечно, выглядит лучше подвала, прежде всего благодаря этим огромным квадратным окнам, через которые вливается свет. Я прибавляю шагу,

поворачиваю налево, в короткий коридор, который ведет к административной зоне кондоминиума, где находится и кабинет папы и Теда Оукли, гадаю, найду ли я там кого-то из них, погруженного в работу. Негромко стучу, а в ответ – тишина.

У меня нет ключа от кабинета, поэтому я кладу папку-гармошку на пол у двери.

Мобильник жужжит в кармане, эсэмэска от папы: «Все еще на совещании в кейтер-компании. Скоро подъеду, и займемся делом».

Само собой. Отец весь в приготовлениях к свадьбе на пару с будущей женой, а его плоть и кровь ждет в доме, который, как ему известно, ненавидит. Но на первом месте у него сейчас Хитер – не я.

Я возвращаюсь в вестибюль. Если уж приходится ждать, то здесь, по крайней мере, работает кондиционер. По мне, это единственное, ради чего стоит сюда приходить.

Я замечаю лежащий у двери сложенный лист. Поднимаю его – хрустящий, легкий – и разворачиваю, как только мой зад устраивается на холодном полу, а спина прижимается к стене слева от двери. Это компьютерная распечатка, какой-то архитектурный чертеж, выполненный системой автоматического проектирования. Я разглаживаю его ладонью, пробегаю пальцами по прямым линиям, углам, изгибаю, понимаю, что из таких вот чертежей родилось это отвратительное сооружение из кирпича, бетона и стекла, в котором я сейчас нахожусь. Я вижу только пол, стены, потолок, а на чертеже еще и сложная система труб, которые пронизывают всю структуру, змеятся в стенах, тянутся над потолками, встречаются и разбегаются вновь.

Змеятся в стенах. Змеи в стенах.

Горло сжимает. Импульсивно я достаю карандаш и начинаю рисовать, стремясь превратить трубы во что-то еще. Окружаю их кольцами, вьюнами, цветами, крыльями птиц, заостренными перышками.

Мое тело исчезает. Боль в голове уходит вместе со всеми спутанными мыслями. Я снова дышу полной грудью. Моя рука порхает, мчится, танцует словно сама по себе.

Свобода. Один лишь миг, но все же. Я ощущаю мамину версию моря, чувствую призрачных богов, о которых она всегда рассказывала истории, спускающихся с небес и покачивающих меня на своих руках. И тут в мою голову откуда-то прокрадывается Штерн. Я вижу улыбку на его лице, океан за нашими спинами. Как мы плавали вместе поздними вечерами. Его тело рядом с моим. Как я всегда знала, что он идет, еще не увидев. «...Не плачь ты обо мне. Из Алабамы еду я, и банджо на спине».

– Как красиво! – Голос пугает меня, и мой желудок вновь завязывается узлом.

Я не успеваю повернуться и посмотреть, кто это, потому что в следующее мгновение, я еще и не моргнула, он уже сидит рядом со мной на мраморном полу.

Штерн.

Он вернулся.

Глава 6

– Лив. Перестань меня игнорировать. Посмотри на меня. – Выдуманный призрак рядом со мной на сверкающем полу. Он в той же одежде, что и вчера: баскетбольные шорты, которые он часто носил при жизни, выбранная с таким тщанием клетчатая фланелевая рубашка.

Я не смотрю на него, потому что он не настоящий. И я это знаю, потому что не чокнутая. Я здравомыслящая личность, ожидающая своего отца, разрисовывающая чертеж этого уродливого здания.

– Эй, послушай. Тебе надо посмотреть на меня. Я не знаю, сколь долго смогу оставаться здесь. – Штерн на мгновение замолкает, потому что видит: я коротко глянула на него. Он наблюдает за мной, пристально, неотрывно. – Ливер, ты должна прислушаться ко мне. Твоя мать не убивала меня, Ливер. Я хотел сказать тебе об этом прошлым вечером, но ты убежала и...

Я начинаю напевать себе под нос, блокируя его слова. «Просто игнорируй его. – Я убеждаю себя продолжать дышать, хотя воздух опять с трудом находит путь в легкие. – Он не настоящий. Если ты будешь игнорировать его, он уйдет. Ты не чокнутая. Ты не чокнутая. Ты можешь заставить его уйти».

– Она этого не делала, понимаешь? Я это знаю. Возможно, это единственное, что я знаю наверняка. Именно это я и хотел тебе сказать.

Я вижу, что рисунки начинают расплываться, чувствую выступившие на глазах горячие слезы. «Исполнение желаний»: фрейдистская теория, подсознательные устремления выходят из снов, истерические фантазии. Я внимательно слушала в тот день на уроке психологии. Меня это интересовало. Я подношу карандаш к бумаге, рисую что-то абстрактное, ничего конкретного.

– Ты слышала, что я только что сказал? – Теперь он сидит на корточках передо мной, его руки на моих коленях, лицо в нескольких дюймах от моего. Странно, но он него пахнет костром. – Ты понимаешь? Она невиновна. Ты можешь помочь ей. Ты можешь помочь мне.

Меня начинает трясти, несбыточные надежды сжимают мои внутренности, как лианы-мутанты. «Прекрати. Просто прекрати». Я хочу встать, я хочу убежать, но не уверена, что ноги удержат меня.

Штерн садится, по-прежнему передо мной, затихает. Какое-то время молчит. Смотрит на широкие стеклянные створки двери вестибюля, на автомобильную стоянку.

– Что здесь было прежде? – Он оглядывает просторный, залитый светом вестибюль, более темный коридор, отходящий от него, шоссе, которое видно за воротами. – Пастушье поле, так? Мы играли тут в бейсбол! Ох... одно из первых воспоминаний, которое пришло ко мне после того... после того, как я оказался там, где сейчас нахожусь. До чего приятно.

– Райна и я называем это место Город призраков, – осторожно говорю я, отдавая себе отчет, что веду разговор с кем-то несуществующим. – Она говорит, что здесь плохая энергетика.

– Она права. Так и есть... я это чувствую. – Его темные кудри торчат во все стороны. Он никогда с ними не справлялся. – Ты это слышишь?

– Слышу что?

Он закрывает глаза, возможно, чтобы лучше слышать.

– Кто-то плачет... ты слышишь?

Я качаю головой: не слышу. Не слышу ничего, кроме шуршания толстых пальмовых листьев, которые иногда касаются стеклянных стен, да далекого гула автомобилей на шоссе.

Я решаю, что больше не буду дожидаться отца. Мне нужно уйти отсюда: от этого момента, этого безумного, воображаемого, истерического момента. Я складываю архитектурную схему и сую в сумочку.

– Куда ты собралась? – спрашивает он.

– Домой, – отвечаю я резко. – Тебя здесь нет, Штерн. – Я смотрю ему в глаза. – Я тебя вы-думала.

Как только я это произношу, он неистово дрожит, а потом исчезает. «Пуф!» Вот так. Я трясую головой, сердце бьется быстро, кожа горячая, ее покалывает. Я схожу с ума. Я точно схожу с ума.

Я запихиваю сумочку в ранец, надеваю его на плечи, спешу к стеклянной двери, к своему велосипеду. Влажность такая сильная, что мне нечем дышать. Руки трясутся, когда я пытаюсь вставить ключ в замок цепи, но я справляюсь, залезаю на широкое, горячее сиденье, качу по длинной, усыпанной гравием подъездной дорожке, потом по Воробьиной улице к променаду.

Дорога за спиной словно в тумане. Шины бьются о неровности променада, образы заполняют голову, запретные, нежеланные воспоминания.

Когда мамина паранойя усилилась, она не могла выйти из дома без бейсбольной биты. Доктор увеличил дозу лекарств до такой степени, что она едва могла

шевелиться, не то чтобы куда-то пойти. Она говорила, что таблетки туманят сознание, что ей проще бояться смерти от укуса гремучей змеи, чем сидеть перед роялем, зная, что никакого вдохновения нет, а пальцы не могут вспомнить ни одной мелодии, которые легко играли раньше.

Одна из ее сонат, которая всегда вызывала мысли о папе, – ритмичный, успокаивающий стук ковбойских сапог по залитой дождем улице, – звучит в моей голове, пока я еду.

Дома кондиционер работает на полную мощность. Я оставляю туфли и остальное в выложенной плиткой прихожей, заглядываю в темную кухню, вижу ящерицу, которая бежит по дальней стене. Оставляю велосипед, поднимаюсь на второй этаж в свою комнату, запираю дверь, едва переступив порог, жду, пока сердцебиение придет в норму.

Эта комната для меня все еще чужая. Мне недостает комнаты, в которой я выросла: деревянный пол, турецкие ковры, мамина детская мебель, которую мы вместе перекрашивали, когда я была маленькой. Только моя кровать прежняя, и мне не терпится забраться под покрывало, чтобы спать долго и крепко... может, и не проснуться. Уснуть вечным сном. Как уснул он. Я задаюсь вопросом: а есть ли пение там, где он сейчас, в Нигде? Есть ли там колыбельные? Может, я пушу его в свою голову, когда засну. Может, позволю ему спеть мне. «А ночью я увидел сон, такие, брат, дела, и в этом сне с холма ко мне моя Сюзанна шла. Не плачь, не плачь, Сюзанна, не плачь ты обо мне».

Я поворачиваюсь, готовая юркнуть под покрывало, и замираю: Штерн. Терпеливо сидит у моего стола, наклонившись вперед, смотрит на меня.

– Знаешь, – он улыбается так, будто ему больно, – ты всегда ездила на велосипеде как де-вочка.

У меня возникает желание закричать, повалить его на землю, вцепиться в лицо ногтями. Вместо этого я закрываю глаза, прижимаю руки к ушам, затягиваю: «Я тебя не слышу я тебя не слышу я тебя не слышу» и «Я не чокнутая я не чокнутая я не чокнутая...».

Штерн встает и направляется ко мне.

– Ты не чокнутая, – говорит он. И когда он это говорит, я чувствую, как его руки накрывают мои: ощущаю дрожь там, где он ко мне прикасается.

Мои глаза распахиваются: он так близко, такой холодный.

– Почему это происходит? – шепчу я.

– Послушай. – Голос его ровный, такой успокаивающий и знакомый. И внутри у меня что-то разбивается. Это же здравомыслящий парень, рядом с которым я росла всю мою жизнь, парень, который всегда знал, как вернуть меня на землю, когда я боялась, нервничала, расстраивалась. Парень, который служил мне якорем. – Я понимаю, тебе это кажется безумием, но если все упростить до предела, речь о следующем: человек, который меня убил, все еще здесь. Ходит среди вас. На свободе. И этот свет, который я вижу, оттуда, где нахожусь... когда тянусь к нему... он посылает меня к тебе. И не только потому, что ты моя лучшая подруга. Не потому, что мы клялись в вечной дружбе, понимаешь? – В голосе появляется мольба. – Ты можешь мне помочь. Ты должна мне помочь. Мы должны с этим разобраться. Найти убийцу. Покончить с ним.

Я смотрю на него пристально.

– Я не могу тебе помочь, Штерн. Убийца не на свободе. В тюрьме. Убийца – моя мать.

Он качает головой.

– Она этого не делала.

Теперь меня трясет, я в ярости, вся горю.

– Ты рехнулся? Есть улики. Они нашли ее рядом с тобой... с твоим телом. Потребовалось много времени, чтобы осознать такое, но мы осознали или начали осознавать, и теперь мне надо с этим только сжиться, понимаешь? – Я моргаю, изо всех сил пытаюсь изгнать дрожь из голоса. – Отец хотел остаться в «О, Сюзанне», хотел, чтобы Хитер переселилась туда. Ради меня. Но мы не смогли. Люди каждый день забрасывали дом яйцами. Писали на нашей двери ужасные слова. Делали все, чтобы мы никогда, никогда не забыли. – Я глубоко вдыхаю,

чтобы взять себя в руки. «Ты говоришь с тем, кого нет. Он не настоящий. Его не существует». Я продолжаю напоминать себе об этом. – Извини. –

Я поворачиваюсь к нему лицом. – Это так странно – спорить с тем, кого здесь нет. Особенно если он в разгаре лета носит рождественскую фланелевую рубашку.

– Там, где я, всегда холодно, – отвечает он искренне и просто. Пауза, потом он спрашивает: – Здесь есть что-нибудь из музыкальных сочинений твоей мамы?

Я слишком устала, чтобы задаваться вопросами о необъяснимой логике моей галлюцинации.

– Несколько коробок, которые я не разрешила папе сдать на склад. – Я тру глаза. – Ноты, блокноты, что-то еще... Почему ты спрашиваешь?

И тут он проходит мимо меня – по телу опять дрожь – к двери спальни.

– Отведи меня к ним, – говорит он, и я слышу волнение в его голосе. – Я собираюсь доказать тебе, что я настоящий.

– Они там. – Я иду к стенному шкафу. Картонные коробки спрятаны в глубине, под моими туфлями и старыми шарфами, потому что отец перевез все мои вещи из старого дома, но я их еще не разбирала. Вытащив коробки из шкафа, я стою рядом, глядя на них.

– Открой, – просит Штерн.

Я медленно отдираю клейкую ленту, откидываю клапаны. Теперь, когда коробки открыты, видны стопки бумаг. И сдержать слезы уже нет никакой возможности: это музыка моей мамы. В смущении я отворачиваюсь от Штерна.

– Ну, – наконец спрашиваю я, – это ты хотел увидеть? Ноты?

– Нет. Должна быть черная деревянная шкатулка с белыми нотами на боковинах.

– Я никогда не видела у мамы такой шкатулки.

Я лезу в первую картонную коробку, медленно, осторожно ощупываю нотные листы с обтрепанными краями, словно боясь, что они рассыплются в пыль от моих прикосновений: как теперь рассыпается она в моих кошмарах.

- Посмотри в другой коробке. Здесь шкатулки нет. В той, - указывает он. - Давай.

Я уже не борюсь с его голосом. Отдвигаю первую коробку и берусь за следующую. Наверху несколько старых альбомов с фотографиями, а под ними маленькая черная шкатулка. С белыми нотами на боковых сторонах. По моим рукам ползет холодок. Я никогда не видела этой шкатулки. Уверена в этом. Так как я могла ее выдумать?

Штерн опускается на колени рядом со мной, и я дрожу, когда он приближается еще на несколько дюймов.

- Она. - В голосе слышится радостная удовлетворенность. - Открой ее. Там тонкий слой чего-то, а под ним «Сливочные карамельки Гетса». Она всегда давала их мне после урока. Знала, что они мои любимые. И однажды сказала, что прячет их здесь, чтобы ни ты, ни твой папа до них не добрались.

Чувствуя, будто моя рука принадлежит не мне, я поднимаю крышку шкатулки, чтобы найти тонкую деревянную пластинку, как и предупреждал Штерн. Медленно убираю ее и вижу «Сливочные карамельки Гетса», уложенные в два слоя. Я смотрю на Штерна.

- Господи... - Чувствую, как убыстряется пульс, а чувство облегчения наполняет меня одновременно с ужасом. «Он настоящий. Иначе быть не может».

Он кивает.

- Да.

Вопросы проносятся в мозгу, слетают с губ.

- Ты помнишь, что случилось? Как тебя убили? - Слова душат меня. Штерн. Мой Штерн - здесь. Настоящий, но и ненастоящий. По-прежнему не вернувшийся, по-

прежнему не мой.

Штерн трет лоб, на лице тревога.

- Нет.

- Тогда откуда такая уверенность, что моя мама невиновна? Как ты помнишь, где она прятала карамельки, но не можешь вспомнить, что случилось ночью, когда тебя убили?

Штерн поджигает губы.

- Та ночь была... темной. Почти все мои воспоминания темные. Но я просто... знаю. Я все еще могу, как это сказать, кое-что чувствовать. Я чувствую тебя. И я чувствую, что с моей смертью что-то не так. Вероятно, поэтому я здесь, понимаешь? Незаконченное дело. Воспоминания отрывочные... я не знаю, откуда они берутся. Я не знаю, почему я что-то помню, а что-то - нет. Сейчас многое не имеет смысла, но я думаю, это часть... умирания. Возвращения туда, где тебя быть не должно. Большая часть воспоминаний недостижима. Ускользает от меня.

Он поднимает на меня глаза, и на мгновение наши взгляды встречаются.

Я глубоко вдыхаю. «Что ж, я ему подыграю. Чтобы посмотреть, куда это ведет».

- Ладно... давай начнем от печки. Что ты помнишь?

Дверь открывается одновременно со ртом Штерна.

Папа.

Я мгновенно поворачиваюсь к моему лучшему другу, к моему возлюбленному, к моему Штерну, но он ушел. Исчез. Не знаю, почему я так поражена: он же призрак. Настоящий призрак, со всеми присущими призракам возможностями.

И я не знаю, почему в душе такая пустота.

– Господи, – говорит папа, шумно втягивая воздух через нос. – Я так переволновался. Ты могла умереть, тебя могли похитить. – Он поднимает руку к лицу, закрывает глаза, никак не может успокоить дыхание. – Я же просил тебя подождать. Что случилось? Ты забыла сказать мне, что у тебя более важные дела? – Капельки пота блестят на лбу под тронутыми сединой волосами. Он достает носовой платок из кармана пиджака, в котором всегда его носит. Из-за этого мама называла его старомодным.

Я воинственно смотрю на него, пусть даже он прав: я совершенно о нем забыла, удрала, когда появился Штерн.

– Ты не оставил мне ключ от кабинета, поэтому я оставила тебе папку с файлами. – К счастью, лгать я умею. – Извини, но я не могла болтаться там, пока вы с Хитер не закончите переговоры с девятьсот семьдесят третьей по счету фирмой, организующей свадьбы.

– Я отменил встречу с мистером Поумроем. Сказал ему, что должен убедиться, а не лежишь ли ты сейчас в какой-нибудь канаве Либерти-Сити. На эту встречу он приехал из Ки-Уэста, а я отправил его назад в «час пик». – Он вздыхает, тербит в руках старомодный носовой платок. – Нельзя так поступать, Лив. Я пытаюсь наладить бизнес. Твоя безответственность может стоить мне клиента.

– Ты мог бы и не отменять встречу. – Я не отрываю глаз от ковра, пытаюсь отогнать чувство вины. – Я не виновата в том, что ты чего-то испугался. Я не беззащитная двухлетка, знаешь ли. Так что перестань волноваться. Сосредоточься на своих клиентах и на своей краснеющей невесте... Я в порядке. Всё у меня отлично!

– Я знаю, что ты не в порядке, – ровным голосом говорит он. – Слушания приближаются, и я знаю, что ты чертовски испугана, так же, как и я. Так что не вешай мне лапшу на уши, Оливия. Тебе шестнадцать, и пусть ты думаешь, что этого достаточно, чтобы считать себя старой и мудрой, ты все равно моя дочка, – говорит он. Убирает носовой платок в карман, его взгляд смягчается. – Для меня ты всегда важнее любого клиента. Ты это знаешь, правда?

Я киваю. «Знаю». Но, по правде говоря, не знаю. По крайней мере, в последнее время.

Он уже направляется к двери, останавливается, потом поворачивается ко мне.

– Между прочим, а с кем ты говорила?

Я недоуменно смотрю на него, и он добавляет:

– Только что. Перед тем, как я вошел.

– С Райной, – быстро отвечаю я, кося глазом на коробки с мамиными вещами, которые стоят на ковре. Папа их не упомянул. И хорошо. – Общались по скайпу.

Он качает головой, его взгляд говорит: «Я знаю, что ты врешь, и этим еще больше разочаровываешь меня».

– Я знаю, к чему ты стремишься. – Он вздыхает. – И ничего у тебя не получится.

Папа, вероятно, думает, что я каким-то образом пытаюсь расстроить его свадьбу с Хитер. Но я отказалась от этих попыток, как только узнала, что они обручились. Он уже слишком глубоко увяз в этой трясине.

Папа закрывает за собой дверь моей комнаты с легким стуком. Рефлекторно я хватаю с кровати подушку и швыряю в закрытую дверь. Она мягко падает на пол. Я усаживаюсь рядом с мамиными коробками, подтягиваю колени к груди. Беру карамельку из маминой секретной шкатулки для сладостей. Бедный папа. Бывшая жена сумасшедшая, а теперь еще и дочь ку-ку.

Но... если Штерн реальный, если он прав, тогда есть шанс, что я не чокнутая. Тогда я в шоколаде. В здоровом уме... по крайней мере, пока.

Каждый год на мой день рождения мама проводила не один час, готовя мне торт, пробуя новые рецепты, новые комбинации. Она помешивала глазурь в большой керамической миске, звала меня: «Подойди сюда, Лив. Скажи, что нужно добавить», – и давала попробовать с серебряной ложки с длинной ручкой. Красила глазурь в розовый цвет свекольным соком или в сапфировый – черничным, а потом поливала ею многочисленные пики и долины.

И я знаю: если есть даже малейший шанс, что Штерн говорит правду, я его выслушаю, помогу, сделаю все возможное и невозможное.

На секунду я приваливаюсь к краю кровати, стараясь понять, что же мне делать. На потолке вижу маму, улыбающуюся мне из глубин белого океана.

«Пусть он будет настоящим».

Паника змеей заползает в грудь, и я выпрямляюсь. Если он не настоящий, если так все начинается... что за этим последует? И чем все закончится?

«Пожалуйста. Пожалуйста, Боже... пожалуйста, кто угодно. Пусть он будет настоящим. Пусть он не ошибся».

Он должен быть настоящим.

Я это докажу.

Глава 7

Я намереваюсь позвать Райну на помощь, но не более секунды. Она не поймет. Куда ей?

Есть у Райны одна особенность: иногда она так действует мне на нервы, что я могу закричать. Я люблю эту девушку и, возможно, без нее умерла бы в какой-нибудь канаве, но иногда я думаю, что наша дружба – еще один трофей, который ей хочется заполучить. На следующей неделе она пойдет на кладбище, будет стоять рядом с родителями Штерна, будто его лучшая подруга, изображать святую, тогда как я, Засранка с большой буквы, не смогу предстать перед их глазами. И звание «Самой сострадающей подруги погибшего парнишки» достанется...

Райне!

А ведь именно я их познакомила, и это убивает. В шестом классе мы с Райной ходили на обществоведение, и она выглядела такой одиночкой – только что переехала в Майами из Миннеаполиса, – и мне понравилась прядь розовых искусственных волос, которую она вплетала в свой темный конский хвост. Поэтому я пригласила ее к себе на ночь. Штерн – он всегда учился в спецшколах, которые помогали развивать его музыкальный талант, – пришел, чтобы поесть пиццы с грибами и посмотреть «Площадку» [17 - «Площадка» (The Sandlot) – американская спортивная комедия, вышедшая на экран в 1993 г.]. Тогда мы впервые и провели вечер втроем. Собственно, не только вечер, но и большую часть ночи. Говорили о Миннеаполисе, о том, как ее отец вдруг сменил город, а месяцем позже сюда же приехали она, и ее мать, и три сестры, потому что мать нашла здесь работу переводчика. Райна научила меня подводить глаза широкой полосой, а потом мы прокрались в стенной шкаф мамы и переоделись в ее концертные платья, да еще натянули на головы колготки. Изображали из себя музыкальный дуэт «Колготочные головы», а Штерн выступал нашим менеджером, организовывающий нам концерты во всех самых известных клубах Северной Америки, Западной Европы и Китая.

После этого мы стали практически неразлучными.

Но первой его нашла я.

Я глубоко вздыхаю: Штерн. Мама. Сердце бьется быстрее, откликаюсь на его слова: «Она этого не делала; она невиновна».

Я встаю, начинаю срывать с себя рабочую одежду, потом поворачиваюсь к стенному шкафу, где все развешено по цветам, надеваю чистый «синий» топик с пуговицами на груди, замшевые «бежевые» шорты, широкий пояс с головой барана на пряжке, черные ботинки «Док Мартенс» с розовыми шнурками: для меня все серое, только разного оттенка.

В итоге я выгляжу некой смесью ковбоя, клоуна, механика и стриптизерши. Меня это вполне устраивает. Тем более что на уме у меня совсем другое: попытаться выяснить, если ли правда в версии моего мертвого лучшего друга в словах о невинности мамы. Для этого необходимо найти человека, с которым я могла бы поговорить: кого-то живого. Время на исходе.

Я не видела маму шесть месяцев: последний раз – когда приезжала на зимние каникулы и сквозь толстую пластиковую панель. Папа заставил меня пойти. Я злилась на нее, больше, чем злилась, но даже тогда не думала, что она сделала это сознательно. Мама как раз не принимала лекарства, потому что работала над новыми произведениями. Раньше она тоже отказывалась от лекарств, когда писала музыку, и все обходилось, если не считать легких приступов паранойи или истерики. Но на этот раз больной разум отправил ее в какую-то новую реальность, и из этой реальности она вернулась уже с кровью Штерна на руках.

Я слышала и такую сплетню, циркулировавшую над болотом флоридских школьников: развод послужил последней каплей, свалившей ее в пучину безумия.

Прежде всего не следовало ей отказываться от приема лекарств. Она же знала, к чему это может привести. Но, похоже, понадеялась на авось. И вина за это, конечно же, лежала на ней. За это я не могла ее простить. Не хотела прощать. И не желала видеть.

Если только...

Если только она этого не делала.

Желудок урчит, но я его игнорирую и иду на крыльцо с ноутбуком. Впечатываю в строку поисковика фамилию маминой адвокатессы: «Коул, адвокат, Майами». Я не помню ее имени. Может, и не знала. В любом случае Коул с не известным мне именем провела с мамой многие и многие часы, допытываясь до истины. Если мама действительно не убивала, у женщины наверняка возникли бы сомнения, она начала бы искать бреши в выводах следствия.

Когда я напечатала фамилию, машина выдала мне сотню различных Коулов, а когда начала кликать каждого, адвокатов среди них не нашлось. Вероятно, где-то я ошиблась. Или с самой фамилией, или с ее правильным написанием.

Я глубоко вдохнула. Отцу сказать ничего не могла. Он ясно дал мне понять, что намерен двигаться дальше и забыть все, связанное с мамой. Кто еще мог подсказать мне, где найти маминого адвоката?

Поездка в поместье Оукли много времени не занимает, но разница между районами более чем существенная. Извилистая, обсаженная пальмами подъездная дорожка ведет к особняку, в сравнении с которым дом папы и Хитер – и это самый дорогой дом, где мне доводилось жить, – выглядит придорожной лачугой для карликов.

Мне становится не по себе, когда я паркую мою старую ржавую развалюху у гаража на четыре автомобиля, рядом с «БМВ» Теда. Только начало смеркаться; солнце, скатывающееся в океан, вытянуло тени. По крытой дорожке я направляюсь к парадной двери их дворца, совершенно белого, невероятно огромного, этакого архитектурного мамонта, с множеством широких окон, черепичной крышей, французскими дверями, верандами, галереями с резными колоннами, мраморными столиками.

Я вытираю потные ладони о шорты и дважды нажимаю на кнопку звонка, прежде чем Клер Оукли распахивает дверь, широко улыбаясь наколотыми ботоксом губами.

– Оливия, дорогая, как приятно тебя видеть! Я так рада, что ты заехала. – Она крепко обнимает меня. – И очень вовремя. Мой инструктор только что отбыл, а Тед на сегодня свое отплавал.

Она ведет меня по сверкающему мрамором коридору – золотая подвеска болтается под подбородком – и засыпает меня вопросами: нравится ли мне новый кондо, согласна ли я с тем, что Хитер такая милая, пойду ли я в городскую школу осенью и знаю ли кого-то из нового класса, пришлют ли мои отметки из художественной школы...

Я киваю, и улыбаюсь, и отвечаю «о, да» на каждый вопрос, правда это или нет.

– Тед? – говорит она, наклонившись к маленькому аппарату внутренней связи в конце коридора, одновременно нажав на белую кнопку.

Тут же из динамика раздается резкий голос Теда:

– Я в кабинете, дорогая. Тебе что-то нужно?

Клер сильно загорелой рукой обнимает меня, направляя к двери кабинета Теда, легонько стучит.

– Здесь Оливия. Ты в приличном виде? – Она хихикает, сжимая мне плечо. Я слышу, как стул Теда отъезжает по деревянному полу.

– Оливия! Заходи, заходи. – Он распахивает дверь. Кладет мясистую руку мне на плечо, тянет к себе. В сумраке кабинета его нос выступает еще больше. Он в гарвардской футболке и хорошо сшитых темно-серых брюках. Я догадываюсь по покрою и оттенку, что они цвета хаки. В его кабинете пахнет кедром и одеколоном... а может, это одеколон с запахом дерева. – Хочешь чего-нибудь, милая? Воды со льдом? Чая? Кофе? – Тед предлагает мне сесть по другую сторону стола из темного дерева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/keyt-ellison/zapiski-iz-goroda-prizrakov/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

«О, Сюзанна» («Oh! Susanna») – песня, написанная «отцом американской музыки», композитором и поэтом-песенником Стивеном Фостером в 1848 г. Одна из самых популярных американских песен всех времен.

2

Автомобиль «Форд Капри» выпускался в 1961–1986 гг.

3

Американский аналог бабьего лета.

4

Ахроматопсия (ахромазия, цветовая слепота) – отсутствие цветового зрения при сохранении черно-белого восприятия.

5

ДДГ – дружба до гроба.

6

«Энн Тейлор» – сеть магазинов модной женской одежды. Основана в 1954 г.

7

«Коуч» – американская компания, производитель аксессуаров класса люкс. Основана в 1941 г.

8

Gracias – спасибо (исп.).

9

Лакросс (от фр. la crosse – «клюшка») – командная игра, в которой две команды стремятся поразить ворота соперника резиновым мячом, пользуясь ногами и снарядами, представляющим собой нечто среднее между клюшкой, ракеткой и сачком. В Канаде игра является национальным летним видом спорта.

10

Пруды – уменьшительное от англ. prude (ханжа).

11

«Рэнсом эверглейдс» – одна из ведущих частных школ Майами (обучение с 6-го по 12-й класс). Основана в 1903 г.

12

«Тако белл» – международная сеть ресторанов быстрого питания адаптированной мексиканской кухни.

13

«Велвита» – американский сыр, разновидность чеддера. На рынке с 1908 г.

14

Аллюзия на фразу «Никто не поставит Малышку в угол» из фильма «Грязные танцы (1987).

15

«Этси» – сайт-магазин для изделий ручной работы и старинных товаров.

16

Nada – нет (исп.).

17

«Площадка» (The Sandlot) – американская спортивная комедия, вышедшая на экран в 1993 г.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/keyt-ellison/zapiski-iz-goroda-prizrakov-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)